

# Надежда Чернова



## ТАЙНЫЙ РОМАН

### СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ

Я всё задаюсь вопросом: зачем же Елена Люц жила с Виктором Мамченко, если всей душой рвалась к Юрию Софиеву, грезила им, особенно в первые годы разлуки? Что ей мешало оставить Виктора, тем более когда в их доме и в их жизни появилась Елизавета Ионова, когда она открыто с Виктором любезничала, и Елена писала Юрию, что там, кажется, намечается связь. Потом Ионова вовсе с мужем развелась, вернула себе прежнюю фамилию Галл и уже откровенно была рядом с Виктором. Люц всё терпела, а была от природы гордой. Что это? Чувство долга и прочие высокие материи тут, я думаю, не главное. Уйти Люц было куда: у них с матерью имелось жильё, пусть убогое, но всё же крыша над головой, и свой участок земли, который можно было обустроить, как обустроила она садик при их с Виктором «козьей хатке» в Медоне. Могла Люц жить и в госпитале, где работала, – там ей отвели отдельную комнату. Какое-то время снимала она квартиру для матери вблизи госпиталя, когда мать серьёзно заболела и нуждалась в постоянном уходе. В конце концов в Медоне «козья хатка» тоже была съёмная. И если уж на то пошло, не тот же ли долг – ухаживать за старой больной матерью? Но Елена то оставляла мать в одиночестве в её бараке, где надо было топить печку, то устраивала в стариковский дом, а сама мчалась к Мамченко, в Медон. И страшно корила себя потом, что мать умерла не у неё в руках, а среди чужих людей.

Мамченко помыкал Еленой – у него был тяжёлый характер, о чём мы уже знаем. К тому же, он ведь не получил светского воспитания, не отличался изысканной галантностью, как Юрий Софиев. Париж Виктора, конечно, немного обтесал, но совсем не переменял.

Бывшие «их благородия», бежавшие из России вместе с казаками, купцами, матросами военных судов, солдатской массой, поднятой по приказу и перемещённой на чужбину, быстро распознавали среди эмигрантов выходцев из низших сословий. Например, Илья Голенищев-Кутузов как-то, будучи в гостях у Мамченко, продемонстрировал своё пренебрежение к простолыдину Виктору, отчего Виктор взорвался и выгнал из «козьей хатки» барчука.



В письме Елене Юрий откровенно говорит о своём друге, чью жену он соблазняет ехать в Алма-Ату:

«Я очень хорошо знаю, как тебе тяжело, родная, и потому особую горечь вызывает у меня твоя восточная примирённость с судьбой.

Я тебе давным-давно говорил: В. совершенно подавил и исковеркал твою личность своим диким деспотическим характером...»

Мать Елены жаловалась ей, что когда она приезжает к ним, в Медон, Виктор ей грубит и вообще несносен. Но и она была несносна. Это мучило Елену, разрывало ей сердце. Она металась между двумя родными ей людьми.

К тому же Виктор скептически относился к её творчеству, и она в конце концов совсем бросила писать стихи. Так бывает в литературных семьях. Гумилёв тоже свысока относился к стихам своей жены, Анны Горенко (Ахматовой), но она пересилила его давление, и они – расстались.

Натали Пушкина пописывала стихи, но прятала тетрадку от мужа, который однажды осмеял её, более того, в одном из писем шуточно наказывал, что если его дочь Машка начнёт сочинять, её первым делом надо хорошенько высечь. Страх перед пушкинским запретом был так силён, что и дальнейшие поколения Пушкиных не осмеливались показывать свои стихи публике, хотя некоторые из его потомков писали, и, говорят, недурно.

Ирина Кнорринг сознательно ушла в тень, и всё время говорила, что Юрий – настоящий поэт, а она – так себе, она – и поэт, и человек «второго сорта»:

Я – человек второго сорта,

Без широты и глубины.

И для чего, какого чёрта,

Такие люди рождены?

.....

Молчать весь вечер, дни за днями,

Молчать всю жизнь, молчать всегда,

Чтоб никудышными стихами

Вились ненужные года...

Так было при жизни. А после её кончины слава на Родине к ней пришла раньше, чем к её мужу. Стихи Ирины Кнорринг были замечены и отмечены Анной Ахматовой. Вышла книга Ирины Николаевны в Алма-Ате. Рецензии на эту книгу появились в журнале «Новый мир» и в зарубежной прессе.

Юрий Борисович, конечно, рад был этому, но – и приуныл, и говорил в письме Мамченко, что он, Юрий, в литературе, наверное, так и останется только «мужем Ирины Кнорринг», а Виктор всячески опровергал его глупые прогнозы. Но к литературным способностям своей жены, Елены Люц, Мамченко относился с раздражением. Он даже письма не доверял ей писать, а просил это делать Ионову: мол, она лучше справится, а ты – бестолкова и бездарна. Елена не спорила.

Да, Виктор откровенно использовал Елену, она была его рабыней – так кажется на первый взгляд. И неслучайно мелкий писака Т., который сочинял пасквили на многих своих знакомых по эмиграции, распространял слухи, что Виктор Мамченко – альфонс. Он на содержании у «богатой старухи-генеральши». Видимо,

«старуха-генеральша» – это Елена Люц. Со стороны, возможно, именно так всё и выглядело. Но если подумать и обратить внимание на мельчайшие детали их взаимоотношений, то начинаешь смотреть на всё иначе. Начинаешь сознавать, что материально Елена его поддерживала исключительно из любви, сострадания и чувства долга. Моральный долг она ставила выше всего, даже и жизни выше. И Виктор эту помощь принимал, потому что считал Елену родным человеком и тоже любил. Они были семьёй, хотя и не узаконили своих отношений, жили гражданским браком. А семейные узы – они глубже и сильнее любой страсти, любых романтических и возвышенных чувств, какие были у Елены к Юрию. Семейные узы порою сильнее даже кровных уз. Это высшее родство, и если оно сопровождается рабством, то рабство это всегда добровольное, даже когда и тяготит, и хочется вырваться на свободу, и проклинает его человек, и кажется ему, что он ненавидит своего тирана, но и расстаться нет сил. Это тот случай, когда и вместе жить тяжело, и врозь – смертельно. Это было родство, когда не забываются мелкие обиды, но прощены великие грехи.

Это – семейные узы. И Софиев это понимал.

Когда-то он сам, ради семейных уз, отказался от поездки в Испанию – воевать против фашистов. Многие друзья его добровольно записались в интербригады.

«И хочется прожить жизнь заново, – пишет он в дневнике 1962 года. – Совсем по-другому? Без Запада? Нет. Внести поправки. Заполнить пустоты, упущенные возможности.

Одна из них, самая жгучая, – Испания.

Я мог бы и должен был быть в Испании, в интербригаде, вместе с Алёшей Эйснером. Но мог ли я бросить больную Ирину и Игоря? На глазах у меня жизненная трагедия отца. Он за неё расплачивался совестью всю жизнь.

Извечный конфликт – долг служения идее и долг семейный.

Война запылала. Все други  
К знамёнам войны полетели.  
Я с ними, но узы семейной любви  
Мне с ними расстаться велели...

“Узы семейной любви” никак не должны пересиливать в таких случаях. Но Ирина была смертельно больна. Совершенно беспомощна с Игорем. Старики были тоже в бедственном положении.

И всё-таки моё “отсутствие в Испании” я ношу на совести, как “невозвратимую потерю”, как “неослабимую вину”. И трудно “смягчить память” и об этой вине...

Алексей Эйснер, уезжая, оставил записку для тов. Левина: “Тов. Софиев в настоящий момент не может ехать по очень тяжёлым семейным обстоятельствам, но он вполне наш, и если обстоятельства позволят, посодействуйте его отправке”.

Ирина нашла эту записку и пришла в ярость...»

Она была в гневе, узнав, что стала причиной его жертвенного решения. Но он своего решения не отменил, хотя до конца жизни казнил и твердил в дневнике, что семейные узы не должны вставать на пути совести и гражданского долга. Но – пересилили семейные узы и любовь к Ирине.

И у Елены Люц – семейные узы, похоже, пересилили всё.

У каждого в семье Мамченко-Люц была своя, внутренняя жизнь, та территория души, куда они не впускали других. Это непреходящее свойство людей творческих.

Может, поэтому, интуитивно, а может, сознательно Мамченко избрал именно такую – свободную – форму брачного союза, наиболее удобную для поэта? Почему же тогда это постоянное чувство одиночества? – А потому, что поэт, творец всегда одинок, даже в многолюдной, шумной семье, как это было у Пушкина, Лермонтова или у Льва Толстого и Александра Блока. Его инакость, его единственность, как творца, делает его одиноким. А в остальном Виктор и Елена – они не были одиноки, вовсе нет. Жили вместе, помогая друг другу выживать на чужбине. Тем более постоянная занятость на работе Елены и её долгие отсутствия дома давали Виктору возможность чувствовать себя комфортно, как и Чехову, который жил в Ялте, а жена его, актриса МХАТа Ольга Книппер, – в Москве. Виктор мог размышлять, сочинять стихи, читать, слушать по радио хорошую музыку. То есть у него было пространство благодатного уединения, так необходимого творцу. Елена это понимала, она и сама нуждалась в подобном уединении, но всё же – всё же она была, прежде всего, женщиной и хотела полноценной семейной жизни, с теплом любви, нежности, внимания со стороны своего мужчины. Чтобы выслушал, чтобы пожалел, чтобы прижаться к нему, как в детстве к отцу, почувствовать себя маленькой девочкой, защищённой, утешенной. Она хотела, чтобы в ней была необходимость – не только телесная, бытовая, но ещё и душевная, сердечная. Она хотела быть единственной. Все это, вероятно, Мамченко в какой-то момент перестал давать. Наступила усталость, такая периодически случается при многолетнем браке. А с Ионовой ему было весело. Она любила вино, как и Виктор. Она обожала Виктора – в эти минуты хмельного веселья: «Мне с тобою, пьяным, весело: смысла нет в твоих рассказах...», а с Еленой у Виктора – постоянное уныние, «одиночество вдвоём». Всё, как в стихах Ахматовой. Ахматовой они верили безоговорочно. Она была кумиром их юности, вместе с Блоком и Гумилёвым.

Тяготение Елены к Юрию было объяснимо, было как бы компенсацией недостающего ей тепла, спасением от отчаяния и ревности.

Но и Юрий вряд ли бы стал ей утешением, сойдись они под одной крышей – в Париже ли, в Алма-Ате или где-нибудь ещё. Софиев тоже был поэтом, тоже погружён в себя, в свои стихи. На другую жизнь у него часто не хватало уже огня, и он казался холодным, равнодушным. И по временам она писала ему довольно жёсткие и горькие – прямые! – письма, где говорила, что нет в нём человеческой теплоты и простоты, он будто чужой...

В такой же холодности и отчуждённости обвинял Ю. Софиева и сын, Игорь, с которым они прежде, при жизни Ирины Кнорринг, были хорошими друзьями, а потом их отношения разладились, особенно после вынужденной двухлетней разлуки.

Об этом с горечью и раскаянием пишет Юрий Борисович своей родственнице, Кире Родионовой:

«...Когда я освободился из немецкого трудового лагеря в 1945 году, Игорю было 16 лет – очень трудный возраст. Он учился в гимназии, и как раз в эти годы учиться почти перестал. Это вызвало известные трения между нами, но внешне казалось, что между нами прежняя близость. В конце концов, он получил аттестат зрелости. Но тут внутренне пошла полоса отчуждения. И вина за это ложится на

меня. Два года сын был вне моего влияния. А после освобождения у меня начинается бурная деятельность – литературная, общественная, политическая. Работаю в правлении Объединения писателей, в газете “Советский патриот”, сотрудничаю в других газетах и разного рода изданиях. В “Советском патриоте” заведу культурпросветом – устройством вечеров, состою в президиуме “Работников искусства” и т. д. И, кроме того, в моей жизни начинают играть роль женщины.

*(Будто они когда-нибудь переставали играть роль в его жизни! – Н. Ч.)*

Игорь на попечении бабушки и дедушки, которые его безумно любят, балуют, и тем самым совершенно подрывают свой авторитет, с которым он совершенно не считается. Со мной – либо мотает головой в знак согласия, либо молчит. Но я начинаю понимать, что наш внутренний контакт нарушен. Ни на какую дурную дорогу он, конечно, не становится, но нет у него и никакой целеустремленности в жизни. Он весьма неглуп, развит, культурен, читает, музыкален – у него устраиваются музыкальные вечера: собирается кружок из гимназических, а потом и студенческих друзей, и они организуют струнный оркестр. Дед его, Н. Н. Кнорринг, историк, в прошлом директор одной из гимназий в Харькове, но, кроме того, и музыкант-скрипач. Игорь с 5 лет до 12 учился на скрипке, у него хороший слух, но после смерти матери – бросил. Перешёл на примитивные “балалайки”. Сорбонна, где он учился, вылилась только в богемную студенческую жизнь. Среди друзей он обладал прозвищем “философ”, но вся его философия, не имея под собой серьёзного обоснования, была чепухой!

И вот, в 20 лет он женился, на женщине из интеллигентной семьи, русской, но родившейся во Франции, очень красивой, с известной склонностью к “достоевщине”, но на 4 года старше его и с “прошлым”: с 4-летним сыном, не знавшим своего отца и по малолетству очень смутно помнящим своего отчима, фамилию которого он носил и с которым его мать в это время уже развелась...

*(Отцом старшего сына Ольги Вышневецкой, Льва, был немец. С ним она познакомилась во время немецкой оккупации Франции: он её взял вместе с Парижем! – Н. Ч.)*

Ольга была не чужда самых высоких и благородных порывов, но в жизни она уже столько пережила, столько испытала, узнала меру и человеческой низости, и бездушного разврата, что эта молодая душа таила в себе довольно страшную опустошённость. Игорь её очень сильно любил. Любила ли она его? Трудно сказать... Она сама этого не знала...

*(Она была увлечена его отцом, Юрием Борисовичем, короткое время они были даже любовниками, а потом она соблазнила его 19-летнего сына, но и спустя годы говорила на могиле Юрия Борисовича: «Вот это был настоящий мужчина!» – Н. Ч.)*

После десятилетнего сожительства они разошлись – уже в Алма-Ате.

*(Брак не спасло даже венчание. Перед возвращением на родину они с Ольгой венчались. – Н. Ч.)*

Игорь тяжело переживал разрыв. Он переехал ко мне. И здесь начался для меня шестилетний период кошмара. Игорь начал выпивать, связался с ужасной женщиной, Светланой К. Он, конечно, оставался единственным дорогим мне человеком, это всё-таки единственный мой сын, но дело в том, что...»

Письмо обрывается, как в авантюрных романах. Но не будем додумывать письмо, а снова обратимся к документу, к дневнику Юрия Борисовича, где он про-

должает мучительные размышления о взаимоотношениях с сыном, где пытается объяснить свою «холодность»:

«...Только Ира чувствовала, знала мою “суровую нежность”. А ведь я с каждым днём всё плотнее и плотнее заковываю себя в холодную броню своей внешней сдержанности из-за всю жизнь присущей мне “стыдливости” обнаружить излишнюю чувствительность...

А может быть, и действительно трудно что-то почувствовать сквозь моё раздражение, сквозь очень плотные, жестокие слова? И, однако, разве не смог бы он заметить (Игорь. – *Н. Ч.*), как я скоро “отхожу” и часто тут же, с той же “стыдливой сдержанностью” и показной сухостью, предлагаю ему “тарелку супа” или каким-нибудь словом обнаруживаю заботу или теплоту в интонациях. Но, может быть, всё это в очень скудной *dose*? Через которую невозможно различить ни любовь, ни боль, ни пронзительную жалость, ни стыдливую суровую нежность?..»

Вот и Елена укоряет его в том же – в холодности. Виноват, кругом виноват...

Ещё говорила Елена о Юрии, что он такой – может переступить через родных и близких ради своей свободы, своего покоя.

Я хочу добавить: творческого покоя, без чего невозможно существование поэта. Ради «покоя и воли» Пушкин тоже не щадил своей молодой жены и детей, оставляя их надолго, удирая то в деревню, то в путешествие, то вообще куда глаза глядят. Он писал семье с дороги покаянные письма, полные тревоги за них и любви, но пересилить «одну, но пламенную страсть» не мог. Он был творцом. И Юрий – был творцом.

Елена Люц вздыхала, что вот она никогда, никогда так не могла – переступить через всех ради себя! – и за это теперь поплатилась: у неё нет никакой личной жизни, уж тем более творческой, она в вечном капкане, бытие её всё более бессмысленно, но она не в силах всё бросить, оставить на произвол судьбы близких людей, которые без неё просто погибнут. Но всё же – порывалась «переступить», всё же грезилась несбыточным счастьем. И в этих грёзах явно идеализировала возможное совместное бытие с Юрием Софиевым.

В Алма-Ате начался бы для неё всё тот же суровый быт: бедность, болезни Софиева, его частая раздражительность, ведь его даже внуки утомляли – от них много шума! – старческие причуды и своеволие Юрия, отстранённость ото всех, когда настагает вдохновение, реалии советского бытия и – женщины. Молодые, по сравнению с Еленой Евгеньевной, полные цветущих сил. Он интересовался ими до преклонных лет. На фотографиях конца 60-х – начала 70-х, уже седовласый, пожилой, но всё ещё красивый мужчина, он неизменно окружён женщинами, которые, похоже, счастливы, что хотя бы для фото могут прильнуть к нему, прижаться, обнять его. В семейном архиве осталось несколько альбомов с приклеенными намертво фотографиями многочисленных женщин и девушек. Он, подобно Пушкину, составлял своего рода «Дон-Жуанский список». У Пушкина Натали Гончарова была, как известно, 113-й. И после неё список продолжался.

В конце XX века на могиле отца мы с мужем постоянно находили свежие цветы. Муж предположил, что это бывшие поклонницы Юрия Борисовича, теперь уж, конечно, старушки, приносят ему ромашки и гвоздики. Потом старушек не стало. Исчезли и цветы. Наступил XXI век.

Как-то я спросила алма-атинских соседок Юрия Борисовича, когда-то малограмотных деревенских девок, а теперь старых тёток, каким он был человеком. Они его знали уже 70-летним старцем. Тётки вспыхнули румянцем:

– Борисыч-то? Он особенной был! Особенной... Вот, если идёт мимо, обязательно на скамеечку к тебе присядет, расспросит, што да как, локоток пожмёт. Вроде ба и не скажет ничё такова, а грудя огнём зажгутся. Так ба и сидела с им вечно, пока батька-то не видит!

Ю. Софиев оправдывал свою склонность к Эросу, писал в дневнике: «Эрос – это великое дело. Бог жизни и бог творческого начала... Люди, лишённые эротической взволнованности, – обездоленные люди...»

Конечно, он отделял возвышенный Эрос от низменных наклонностей:

«Но если замечательные люди мучимы Эросом, это ещё не значит, что все эротоманы – замечательные люди. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить парижские писсуары.

Чересчур пречистые и непорочные девы – тоже и утомительны, и огорчительны своей пресностью.

Но кобель или жеребчик, вроде Бориса Ширяева, которых тоже мучит Эрос, от этого, увы, не только не становятся великими, но и просто становятся скотами.

Впрочем, я и сам до конца не понимаю, почему светла и прекрасна Сафо и весьма сомнительны парижские лесбиянки?

Или виновен в этом искажающий романтизм? Или Пьер Луис со своими “Песнями Билитис”? Alors!..

А вот Бунинские “Тёмные аллеи” – это прекрасный гимн Эросу. Одно и то же явление становится чистым или грязным в зависимости от того, чисты или грязны внутренне мы сами...»

И кто знает, может, Елене, если бы она уехала к Юрию в Алма-Ату, прежняя жизнь в Медоне, рядом с Виктором Мамченко, показалась бы раем, как всё прошлое, особенно – молодость, особенно – поэтические картины минувшей любви. Ведь была же когда-то страстная любовь с Виктором, ведь сбежала она к нему от законного мужа, Густава Люца, который мог хорошо обеспечить ей безбедную жизнь, который был положительным во всех смыслах, но она бросила надёжного реалиста Густава и выбрала мечтателя и поэта Виктора.

И стала бы она тосковать о нём. Всё плохое забылось бы, осталась бы только поэзия – страсть в Бизерте, под шум ночного моря, потом ослепительный, праздничный Париж, его зелёные пригороды, прогулки по Медонскому лесу, беседы в саду возле их «козьей хатки», запах цветов под окнами, первые тюльпаны – Виктор ставил их у изголовья её кровати, оранжевые настурции, яркие, как солнце, слабость Виктора во время его болезней, и её нежность к нему – материнская, сестринская. У неё не было детей, не было и брата. Жалость к его беспомощности детской, зависимости от неё, и то, как она спасала его всякий раз, единоборствуя со смертью. И то, как мытарил и мучил он Ионову, а при ней, Елене, был кроток и спокоен. И то вспомнила бы, как ждал он её всегда с работы, с её долгих дежурств в диспансере, как она покупала по дороге для него что-нибудь вкусное. Как они пили чай вдвоём, вспоминали молодость и общих друзей, которые уехали или уже умерли, но в эти минуты счастливого вечера вдвоём были с ними.

Ю. Софиев говорит, что Виктор, которому свойственны были вспышки не-носного характера, тем не менее быстро отходил, был добрый, сострадательный, верный человек. Это видно и по его письмам. И это был очень духовный человек. Думаю, Елене рядом с ним было интересно, несмотря на все её жалобы. И, похоже, это ей посвятил он стихотворение «Она»:

Светом солнечным пьянели  
Золотистые глаза,  
Неподвижны были ели  
И морская полоса.

.....  
А потом прикрыла очи,  
И была она тиха,  
Как звезда июльской ночи, –  
Вся в печали без греха,  
Тишины любовной кротче.

Вновь шумели в знойной лени  
Море, сосны и земля,  
И вязало время тени,  
Будто Парка, оголяя  
Её детские колени...

Стихи эти напечатаны в последнем сборнике В. Мамченко «Воспитание сердца», который вышел в Париже в 1964 году, то есть когда у Елены продолжался эпистолярный роман с Софиевым, и она всё ещё надеялась на встречу с ним, но, выходит, и с Виктором были не только конфликты, не только тягостное рабство, но и любовь, и не умозрительная, не на расстоянии, а настоящая. И, судя по стихам, для Виктора Елена всё же была «без греха», несмотря на все его упрёки, как и для Софиева – «в нимбе» («под нимбом золотых, густых волос волнующий овал...»), потому что образ её озарён и очищен любовью. Софиев говорит о ней: «Сияй, моя вечерняя звезда, / Дарованная щедрою судьбою, / Чтоб озарять последние года...»

А Мамченко видит в ней «звезду июльской ночи»: «И была она тиха, / Как звезда июльской ночи, / Вся в печали без греха, / Тишины любовной кротче...»

Эта «кроткая тишина» их с Мамченко любви, скорей всего, и удерживала Елену в Медоне. А кроме того – «роковое недоверие» к Софиеву, о котором говорил ей в своём письме Юрий. Да, Юрий был ветреник, подвластный стихии Эроса, даже и в старости. И ещё, думаю, он никогда не был готов к семейной жизни, и сам написал об этом и в стихах – с предельной честностью к себе: «Я был плохим отцом, плохим супругом...», и в письме к Раисе Миллер.

«Оборачиваясь на свою жизнь, я часто думаю, что никогда не был настоящим “взрослым” человеком, я всю свою жизнь оставался безрассудным юношей. И до седых волос так и не смог приобрести “почтенности”, положительной солидности, несмотря на пузо. Сожалел ли я об этом? Нет. Никогда, нет! Сожалею о другом – слишком мало успел сделать в своей жизни, слишком много и бессмысленно зря растрчивал драгоценное время, слишком много с детства мечтал и мало действовал, слишком часто кипел впустую, постоянно искал, со-



мневался, постоянно боролся с самим собой... Но я любил в своей жизни, и любил по-настоящему, и это великое счастье, а вот ненавидеть по-настоящему не умел, именно поэтому и не стал борцом.

А свойственно мне не рациональное, а эмоциональное, чувственное, эстетическое восприятие жизни, и, увы, скорее пассивное, чем активное, хотя люди думают обо мне иначе, но я-то себя знаю лучше, чем знают меня люди...»

Вот это, «пассивное» восприятие жизни, видимо, и мешало воссоединению Елены и Юрия.

\* \* \*

Но неготовность к семейной жизни – следствие не только характера Юрия Борисовича. Тут ещё и воспитание. Он с отроческих лет был оторван от семьи, сначала учась в военных заведениях, потом служа вместе с отцом и кочуя по гарнизонам. Его военная стезя была predetermined с рождения. На одной из младенческих своих фотографий он снят с маленькой фуражкой артиллериста, которую ему сшили, как только он родился.

Мать, Лидия Николаевна, с двумя его младшими братьями, Львом и Максимилианом, оставалась дома, чаще всего у родителей, в Старой Руссе. Только первые годы супружества она ездила вместе с мужем и детьми по России – всюду, куда мужа направляли по службе. Борис Александрович Бек-Софиев, потомственный военный, всегда твердил: «Служба – на первом месте, семья – на втором».

Он тяжело пережил падение старой России, которой служил. «Я в 1917 году был в старшем классе корпуса в бывшем Нижнем Новгороде, – пишет Ю. Софиев. – Отец и дядя (Н. Н. Родионов, брат его матери. – Н. Ч.) были на войне. Отец на войне отличился, получил Георгия, золотое оружие, чин полковника. Но в развернувшихся событиях ничего не понял. Развал фронта произвёл на него подавляющее впечатление. Очень сдержанный, скорее суровый человек, приехав с фронта, бросился к матери, первый раз в жизни разрыдался, и все его переживания выразились в одной фразе: “Погибла Россия!”»

Стал участником Белого движения. И здесь проявил себя храбрым бойцом, но отказался от звания генерала: “Никаких званий за участие в Гражданской войне принимать не хочу!”»

Надо сказать, не только отказ от наград и званий были в правилах белых добровольцев, которые считали некорректным получать награды в войне со своим народом.

«Подобно каким-нибудь тамплиерам, эти “рыцари бедные”, вступая в Добровольческую армию, принимали присягу, в числе прочих обязательств содержащую отречение от всех личных уз (включая семейные)...» (Ю. Каграманов. *Две правды*) – или одна? К девяностолетию окончания Гражданской войны. *Новый мир*. № 11. 2010 г.)

После разгрома Белого движения семья и вовсе распалась: Юрий с отцом бежал за границу – сначала в Галиполи, потом в Югославию и, наконец, во Францию, а мать и братья остались в России.

«С первых же лет пребывания во Франции отец списался с семьёй, – вспоминает Ю. Софиев, – и завязалась более или менее регулярная переписка. Отец хотел

выписать семью во Францию, начал хлопоты, и, насколько я помню, они имели положительный исход, но мать выехать отказалась, ссылаясь на то, что не может бросить престарелого отца и хочет, чтобы Лев закончил высшее образование. Он учился в Ленинградском Лесном институте, а она знала, что мы с отцом во Франции работали рабочими на заводе (в Монтаржи), и что их ждала бы такая же участь. После смерти отца моего в 1934 году переписка с семьёй почти замерла, а после 1937 года оборвалась. О дальнейшей судьбе моей семьи я узнал уже при встрече, после 26-летней разлуки...»

Борис Александрович горько сожалел, что оставил семью на произвол судьбы, и хотя понимал, что сделал это вынужденно, всё равно вина точила его и довела до туберкулёза. Но если бы он остался в России, то его постигла бы, скорее всего, участь других белых офицеров.

«Винить военных тоже было не очень правомерно, – пишет В. Костиков в книге «Не будем проклинать изгнанье». – Большинство из них подчинялось приказам. К тому же эмиграция хорошо помнила, какие тяжёлые потери русское офицерство понесло в Первой мировой войне: в ходе боёв погибло более 60 тыс. офицеров. Памятен был и “красный террор”, обрушившийся на тех офицеров разбитой армии Врангеля, которые не пожелали спастись бегством и остались в Крыму, сдавшись на “милость победителей”. Кровавая “чистка” Крыма унесла, по ряду подсчётов, примерно 40 тыс. жизней...»

После смерти отца Юрий Борисович нашёл его дневник, где и прочитал о его тоске.

«Уже в 1923 году отец мой... ставит вопрос перед своей совестью: прав ли он был, что бросил семью, увёл с собой старшего сына и боролся против советской власти? “Видимо, народ эту власть принял. А раз так, то и мы должны были покориться и остаться со своим народом, но трудно было что-нибудь понять в это время...” – писал отец.

За всё время эмиграции до своей смерти в 1934 году отец мой не состоял ни в каких организациях, даже в Союзе инвалидов, и мотивировал это тем, что у него семья в Советской России, и его поведение может повлиять на их судьбу.

Оставался русским патриотом и очень тосковал по семье и по родине. И почти всю эмиграцию работал рабочим на фабриках...»

\* \* \*

Юрий Борисович был очень привязан к отцу. Признавался, что в детстве побаивался его – отец был суров и немногословен. Но когда Юрий подрос, они с отцом подружились. Он восхищался отцом и подражал ему. Отцу посвятил он немало стихов, где отец неизменно – герой:

Ещё плывёт дымок чужой шрапнели,  
Ещё шумит густой российский лес,  
И на твоей простреленной шинели  
Простой эмалевый белеет крест.

\* \* \*

Вот облетают каштаны последней весны.  
С этой весною уходишь и ты без возврата.

Горе изгнания и подвиг высокий солдата  
Здесь на земле тебе были судьбою даны.  
*Памяти отца. 1934 г.*

Но вот один эпизод из их совместной жизни, который, может быть, объясняет в какой-то мере склонность Юрия Борисовича к эросу и супружеской неверности. Это запись в дневнике 1959 года. Воспоминания о давних днях, когда отец служил на Кубани. Юрий приехал к нему в гарнизон из Ростова-на-Дону, где лечился в госпитале от возвратного тифа. Он к своим девятнадцати годам уже успел повоевать, понюхать пороху. Он видел ужасные картины смерти и человеческой жестокости.

«Отец поручил меня дамам, с просьбой “откормить”, а во всём остальном предоставил самому себе. Одной из хозяек этого пансиона была жена капитана Рыкалова. Это была молодая женщина, бесспорно красивая, но, как мне показалось, достаточно глупая и легкомысленная... Я скоро заметил, что у отца с Екатериной Николаевной существуют отношения более интимные, чем простое знакомство.

Отец был небольшого роста, но довольно сухощав и строен, у него было очень мужественное, благородное лицо горца. Он был брюнетом, но у него были чудесные синие глаза. Всю свою жизнь он нравился женщинам.

В этот период ему было сорок с небольшим, но выглядел он очень молодо, и потому казался совсем молодым полковником с беленьким георгиевским крестом на гимнастёрке и с георгиевским темляком на золотом оружии.

Вскоре я убедился, что не ошибся насчёт интимных отношений отца с Рыкаловой».

Надо заметить, что муж этой Рыкаловой, угрюмый дундук, совсем не выглядел героем и красавцем, и понятно её увлечение Борисом Бек-Софиевым.

Были у отца женщины и во Франции. Но эти «измены», если посмотреть на них с житейской точки зрения, в общем-то, объяснимы: Борис Александрович был здоровым, не старым ещё мужчиной (в эмиграции), а в России – подолгу находился в походах, вдали от жены, которая не могла (или не хотела?) следовать за ним, как это делали жёны других военных, сослуживцев Бориса Бек-Софиева. Может, Лидия Николаевна догадывалась о его романах с женщинами, а может, и знала, потому ещё не хотела возвращаться к мужу, бежавшему за границу? Ведь отец её в то время, в 1925–1926 годах, уже переехал к сыну Николаю, в Москву.

Об этом пишет Лев Юрию в одном из писем, от 19 июня 1974 года, вспоминая те годы и сожалея о пробелах в родословной, которую он пытался восстановить. Родословной интересовался и Юрий: «К сожалению, все документы дедушка увёз из Старой Руссы в Москву, когда, продав дом, переехал жить к дяде. Увёз и кресло с дугой, на котором ты снят с артиллерийской фуражкой. Тебе тогда было несколько месяцев. Знаю только из обрывков послужного списка, сохранившегося у мамы, что “имения родового или благоприобретённого за ним и родителями не состоит. Имеет сына Николая, родившегося 6 ноября 1874 г. и дочь Лидию, родившуюся 20 июня 1876 г.”»

Значит, отец был устроен, под присмотром брата Лидии Николаевны, и она могла бы отправляться к мужу и старшему сыну во Францию – тогда это было

ещё возможно, но вместо этого она с Максимилианом и Львом перебирается в бывший Петербург, где когда-то родилась.

А потом, после нэпа, упал «железный занавес», и выпускать за рубеж перестали.

В смутные годы Лидии Николаевне и мальчикам удалось уцелеть. И, вероятно, вот почему. Лев, сообщая в письме послужной список их деда, Николая Семёновича Родионова, пишет о последних годах его военной карьеры: «Дедушка был воинским начальником в Лукове. Выйдя в отставку, вернулся в Старую Руссу. В отставку вышел в 55 лет, будучи подполковником. До полковника не хватило несколько дней. Это спасло дедушку в дни революции. Будь он генералом в отставке, его бы в Руссе растерзали, как Александрова, Рихтера, Завалишина и других. Рихтер был полковник, но железнодорожный жандарм...» Кроме того, может, сыграло свою положительную роль и то, что сын Николая Семёновича, Николай Родионов, был одним из организаторов Красной армии, в Гражданскую войну воевал против Колчака – был начальником артснабжения на Восточном фронте. Это, видимо, спасло и Лидию Николаевну с сыновьями.

Как уж они дальше выживали в новой России – неизвестно, но Лидии Николаевне удалось дать сыновьям высшее образование. Они работали в советских учреждениях: Лев занимался биологической наукой, а Максимилиан стал инженером – специалистом по алюминию. Жили они в коммунальной квартире. И, может, уцелели бы снова, оставаясь в тени, если бы не агрессивное поведение Лидии Николаевны. Она постоянно ссорилась с соседями по коммуналке, высокомерно держала себя с «безбожниками-пролетариями». Да и Максимилиан то и дело подчёркивал, что он благородного происхождения, что он «из бывших». Демонстративно выписывал газеты на французском языке, хотя ни одним иностранным языком не владел, козырял тем, что старший брат его и отец живут за границей. К тому же Максимилиан любил шиковать, что тоже бросалось в глаза «пролетариям». Продавал семейные драгоценности и на эти деньги возил свою возлюбленную отдыхать на Чёрное море. Макс был влюблён в дочь великого русского композитора А. Скрябина, Елену. (Елена – дочь А. Скрябина от первого брака. От второго брака у него имелась другая дочь – Ариадна, которая стала поэтессой, вышла замуж за поэта русского зарубежья Довида Кнута, героически проявила себя во французском Сопротивлении и погибла в 1944 году.)

О любовной связи Макса с Еленой Скрябиной и трагической развязке есть некоторые подробности в дневнике Ю. Софиева:

«От Л. (Льва Бек-Софиева. – Н. Ч.) получено грустное письмо. Пишет, что в Скопле погиб... племянник с невестой-американкой. Это незаконный сын Макса... Погибли, значит, во время недавнего землетрясения. Значит, судьба занесла его в Югославию.

...Я его никогда не знал, хотя вспоминаю его историю.

Вот что я узнал в своё время от Лёвы и мамы. У Макса был роман со Скрябиной. Она была замужем за известным музыкантом, учеником её отца, Софроницким. Ко времени знакомства с Максом они с мужем жили врозь, он гастролировал по Европе, и в конце концов они развелись. Макс с ней ездил в Крым и на Кавказ, на курорты. По рассказам Лёвы, загонял в каких-то тогдашних официальных учреждениях фамильные драгоценности и золотые вещи. В то время будто бы мама этому делу способствовала. У Скрябиной родился сын. Ни для мамы, ни для

Лёвы не было секрета в том, что это сын Макса. Вскоре Макс был арестован (в 1937 г.) и сослан в Магадан. Мама, в страшном горе, вдруг, обвинила Скрыбину, что всё произошло из-за неё, что она ничего не предпринимала, чтобы спасти Макса. Как? В 1937-м? В страшные времена сталинского террора как можно было спасти кого бы то ни было?

*(Я знаю, что мать обращалась к жене Горького, Екатерине Пешковой, которая приходилась ей троюродной сестрой, и в семье Родионовых горевали, что Катя вышла замуж за босяка. Пешкова многим помогала, но в случае с Максом и она была бессильна. – Н. Ч.)*

...Мама, по свойству своего характера и страшному безрассудному упрямству, возненавидела Скрыбину и всегда утверждала, что именно Скрыбина погубила Макса.

Во время войны Скрыбина с сыном попадает в зону оккупации и, видимо, пользуется этим обстоятельством, чтобы покинуть Россию. Знание европейских языков облегчает ей возможность устроиться сначала в Германии, потом в Англии или Америке. Во всяком случае, после войны в бытность мою ещё в Париже, когда мама с Лёвой жили в Noisy-le-Grand, Скрыбина появляется в Париже. Лёва с ней поддерживал письменную связь. В Париже они встретились, но не в Noisy-le-Grand, а на какой-то “нейтральной почве”, так как мама категорически отказалась её видеть и принять у себя. Видимо, Лёва поддерживал эту связь и после смерти мамы.

Каким образом молодой Скрыбин со своей невестой очутился в Скопле – мне неизвестно. Однако и мне очень грустно, что Максина линия пресекается...»

Однако я отвлеклась от драмы, которая разыгрывалась в коммунальной ленинградской квартире, где жили Софиевы в 1937 году. Выходки Максимилиана и скандалы Лидии Николаевны привели их к катастрофе, и навели ЧК на след неблагонадежной семьи. Скорей всего, донесли бдительные соседи, что случалось тогда повсеместно. Максимилиана арестовали, с формулировкой: «за антисоветскую деятельность», и он бесследно исчез. О судьбе Максимилиана семья узнала только в конце 50-х, после смерти Сталина.

«Уже здесь, в Алма-Ате, – пишет Ю. Софиев, – я получил письмо от Е. Е. Люц, которая мне написала, что брат Лев официальным путём получил извещение, что Максимилиан умер в 1945 г. от воспаления мозга на Севере. Теперь, после известного письма Н. С. Хрущёва, я склонен думать, что если бы он остался жив, может быть, дело его было бы пересмотрено, и он, может быть, был бы реабилитирован...»

После ареста Максимилиана над семьёй нависла нешуточная опасность, и потому Лев с Лидией Николаевной спешно бежали в Крым, скрываясь от преследования. А потом началась война. Немцев вытесняли из Крыма, и Софиевы оказались в Германии. Сами ли они туда ушли или немцы принудительно их переправили – неизвестно. Там Лев стал работать в научной лаборатории. Он был специалистом по короедам. Имел учёную степень. Он всё время искал отца с Юрием.

В своей биографической справке Ю. Софиев пишет:

«В 1943 г. я был депортирован в Германию и находился в лагере Одерберг, работал на химическом заводе. Затем, по состоянию здоровья, в 1944 г., устроил-

сы работать этимологическим рисовальщиком в отделение Лесного института в Говерш-Мюндене. Друзья из Парижа известили меня, что меня по газетному объявлению разыскивают мать и брат, находящиеся в Германии. Только осенью 1944 г. нам удалось встретиться.

После 26 лет разлуки выяснилось, что у нас не только нет общего языка, но что нас разделяет глубокая политическая вражда. Это обстоятельство, столь для меня неожиданное, не поколебало ни моих убеждений, выработанных самостоятельным жизненным опытом, ни моих патриотических настроений...»

Когда семья, наконец, воссоединилась, отца в живых уже не было. Мать укоряла Юрия, что он оставил отца и женился, хотя благословение своё на его брак с Ириной Кнорринг она ему всё же дала. Не сразу, но дала. Он ведь венчался. И всё равно! Он должен был заботиться, прежде всего, об отце, как заботилась и она о своём отце, пожертвовав мужем, а не думать о собственных удовольствиях.

Это были тяжёлые слова. Юрий Борисович никогда не забывал своей вины перед отцом. Всякий живой человек чувствует себя виноватым перед усопшими родителями.

И страшный стук земли о крышку гроба,  
Рабочие, священник и друзья,  
И то, что мы переживали оба...  
Я знаю – этого забыть нельзя.

На что теперь тебе моя забота,  
Мои цветы, отчаянье и стыд,  
И этот взрослый – тайный – плач навзрыд,  
Ночные, ледяные капли пота.

Осенний запах вянущих цветов.  
Всё кончено, и всё непоправимо.  
Так раскрывает смерть неумолимо  
Последний смысл простых и страшных слов.

*Памяти отца. 1934 г.*

К внуку, Игорю Софиеву, Лидия Николаевна отнеслась холодно. Лев оправдывал холодность матери: мол, она же не растила его с пелёнок, а встретила уже 16-летним недорослем. Нет, она не может его полюбить, заявила Лидия Николаевна, он слишком своенравен. Он неуправляем. Он совсем, как Юрий. И зачем только она отдала Юрия Борису? В восемь лет отец посадил мальчишку в седло, и Юрочка горделиво гарцевал на коне по гарнизонному плацу впереди военной колонны.

Юрий Борисович всю жизнь помнил эти счастливые моменты своей жизни: «...А вот мне восемь лет, и родители подарили мне английское, маленькое, скаковое седло. Отец стал учить меня верховой езде, гонял по манежу в солдатской смене. Мать отлично скакала амазонкой, и мы ездили на прогулки в тайгу верхом (они жили тогда на Дальнем Востоке. – Н. Ч.). Восьмилетним я проделал мой первый поход с батареей отца в лагерь на Бараневский полигон. При выступлении сгорал

от счастья и гордости и ехал верхом перед батареей в строю конных разведчиков. А во вторую половину дня скакал с квартирными к месту вечернего бивуака, чтобы заранее распределить в избах места для ночлега офицеров и солдат...» («Разрозненные страницы»).

А потом Юрий и вовсе ушёл с отцом, попал в мясорубку Гражданской войны. Отец обрёл мальчика на изгнание, позор, нищету. Хорошо хоть, она Льва с Максом уберегла от военной стези. Правда, Максимилиан служил какое-то время в Красной армии, и есть фото в семейном альбоме, где он в военной форме и в фуражке со звёздочкой, но выражение лица совсем не боевое и не радостное. Макс был сугубо гражданским человеком и войны не любил.

Что ж, как женщину, её можно понять и пожалеть: Юрий, говорила она, её поражение в семейной жизни. Литературные его успехи, похоже, не примиряли Лидию Николаевну с этим поражением и не оправдывали, не поднимали Юрия в её глазах.

С матерью у Юрия были сложные отношения, он считал – даже трагические, о чём говорит в письме к Елене Люц, вспоминая переживания после утраты отца и жены: «Не теряет остроты и трагедия наших отношений с матерью...»

Внешне очень похожий на неё, с такими же тонкими чертами лица, белокурый, во всём остальном он был полной её противоположностью. И она не прощала его за то, что он мало верил в Бога, слишком увлекался женщинами, был бродягой и полюбил «красных». Список её претензий к нему был бесконечен, но именно она внушила ему когда-то любовь к русской литературе и заронила в душу его искру поэзии.

«В 1913 г. отец получил назначение в офицерскую артиллерийскую школу в Царское Село, – пишет он в «Разрозненных страницах». – Приезжая на каникулы, я бродил по старинному парку Мраморного дворца, полного следов лицейского Пушкина:

Здесь лежала его треуголка  
И растрёпанный том Парни.

Настало время, когда к прежним страстям прибавилась поэзия: Лермонтов, Пушкин, Тютчев, Блок и многие другие. Этим я обязан матери.

Мать мне пела Лермонтова в детстве,  
О Ерошке рассказал Толстой...

Она привила мне любовь к природе и к музыке, неплохо играя на пианино, сопровождая друга нашего дома, талантливому виолончелисту. Она же пела мне русские и украинские народные песни, которые я полюбил на всю жизнь и даже пытался передать их моему сыну во Франции, в его раннем детстве – с ним мы с женой до его четырёх лет принципиально говорили только по-русски...»

Матери посвятил Юрий ностальгическое стихотворение в цикле «Памяти отца» (1934 г.), где снова упомянут М. Лермонтов – в эпиграфе: «Провожать тебя я выйду, / Ты махнёшь рукой...» В стихотворении своём он пытается

оправдаться перед матерью, которой нигде и никогда (и в стихах, и в дневнике) не сказал ни единого слова упрёка или обиды, а всё та же вина мучает его, как и перед отцом, – за «брошенный дом». «Брошенный дом» – это не только конкретный факт биографии, но ещё и поэтический образ: неизбежный уход сына из родительского дома – отрыв от материнской кроны, от отцовских корней.

Провожать тебя я выйду –  
Ты махнёшь рукой...

*М. Лермонтов*

Так с тех пор до конца, до могилы  
Этот воздух широких полей,  
Этот брошенный дом. – Брат мой милый,  
Оседлаем скорее коней!

И над вздыбленными городами,  
И над горьким костром деревень,  
Только брезжил, вставая над нами,  
Наш высокий, наш трудный день.

Жить иначе нет веры, нет силы.  
Не щади же себя, не жалеи!  
Это ты мою жизнь осветила  
Колыбельною песней твоей.

Реял сумрак кровавый над нами,  
Безнадёжно клоня на ущерб.  
Умидали за белое знамя.  
Умидали за молот и серп.

В архиве Ю. Софиева я нашла другое стихотворение, посвящённое матери, с таким же эпиграфом из Лермонтова, из его «Казачьей колыбельной песни». И эта переключка с любимым поэтом как бы продолжает песню матери, запечатлённую Лермонтовым.

Только у Юрия Софиева дитя – уже не младенец, он может отдавать отчёт в чудесности своего видения, более того, он пишет от имени себя уже взрослого, пережившего и войну, и те испытания («в чужом краю»), о которых пелось в «Казачьей колыбельной песне» Михаила Лермонтова, но, слава Богу, из «опасного боя» он вернулся живым – он, потомок казака, кошевого Запорожской сечи Родиона (мать Ю. Софиева в девичестве Родионова).

И переводишь дыхание, читая после «Колыбельной» Лермонтова «Колыбельную» Ю. Софиева, будто дописан благополучный конец, будто «заплакал белый ангел у ворот» уже от радости встречи. И у ворот М. Лермонтова, и у ворот Ю. Софиева, и у ворот молодой казачки из станицы Червлёной на Тереке, где и была, говорят, написана лермонтовская «Колыбельная». Матери дождались своих сыновей!



## МАТЕРИ

Провожать тебя я выйду –  
Ты махнёшь рукой...

*М. Лермонтов*

Мой детский мир такой уютно-тёплый,  
Под маленькой иконкой в головах.  
И через замороженные стёкла  
Звезда рождественская в небесах.  
Обсажен ёлками каток на речке,  
И вот домой врывается едва,  
Уже трещат в большой голландской печке  
Берёзовые жаркие дрова.  
И мама Лермонтова напевает  
У изголовья стихшей егозы,  
И тихим белым ангелом сияет  
Через кристалл счастливейшей слезы.  
Всё так и вышло. Вставил ногу в стремя,  
Махнул рукой, и вот за годом год...  
И материнское поднявши бремя,  
Заплакал белый ангел у ворот.  
Но памяти, средь мусора и вздора,  
Одно виденье сердцем вручено:  
Тот дом, где у дощатого забора,  
Под шум дубов, расстались мы давно...

Мать для него навсегда осталась сияющим белым ангелом из детских видений – «через кристалл счастливейшей слезы», как и для Лермонтова – его мать, равная Мадонне, и звали её, как Святую Деву, – Марией, и под детским впечатлением от песен матери написал он свой шедевр «Песнь ангела»: «По небу полуночи ангел летел, / И тихую песню он пел, / И месяц, и звёзды, и тучи толпой / Внимали той песне святой...»

Именно эту лермонтовскую – святую – «Песнь ангела» пела Юрию Софиеву в детстве и его мать.

\* \* \*

Если Юрий и Максимилиан внешне были очень похожи на мать, то Лев – обликом вылитый отец. В нём наиболее ярко проявилась кавказская кровь. Он был смуглым брюнетом, с красивыми волнистыми волосами, рано поседевшими, и те же синие глаза, как у Бориса Александровича, или Оскара Искандеровича, если вспомнить его природное – восточное – имя.

Лев оказался более примерным сыном, чем Юрий. Лев – гордость Лидии Николаевны, её реванш в неудачном браке с Борисом. А какая была любовь – безумная, до огненных кругов в глазах, до задыхания! Всё пропало, всё сожжено, уничтожено чёрным вихрем бесконечной войны, только пепел вьётся по их следам...

Лидия Николаевна давно научилась плакать. Слезы горьким камнем застыли в груди, и нежные когда-то губы её вытянулись жёсткой линией – будто черта была подведена под страшными годами. Более всего горевала она о младшем своём, о Максимилиане: где он? Жив ли? И тут же пугалась своих вопросов, быстро крестилась: жив, жив! Макс жив! Лёвушка ищет его, шлёт запросы. Он его найдёт. Одно утешение у неё – Лёвушка...

Жизнь свою Лев посвятил матери. Он не заводил своей семьи, жил холостяком – с матерью. Он для неё старался зарабатывать как можно больше денег, чтобы окружить комфортом, заботой, чтобы ни в чём, ни в чём она не нуждалась. Он трепетно хранил память о ней после её смерти. То и дело писал Юрию в Алма-Ату: «Мамино дерево расцвело... Мамин цветок на окне весь озарён солнцем... Ты помнишь Мамину иконку? Она всегда со мной... Я всё время смотрю на Мамин портрет, где она молодая и в наколке сестры милосердия. Снимок 1914 года...»

Когда матери не стало, Лев рядом с её портретом поставил на комод и портрет любимой девушки, к которой ревновала его Ирина Братус: милое, нежное лицо, обрамлённое волной белокурых волос. Как она похожа на его молодую мать! Но при жизни матери он фото любимой прятал, чтобы не огорчать Лидию Николаевну.

Лев хранил и семейные реликвии, собирал материалы, касающиеся родословной Софиевых и Родионовых. В письме от 19 июня 1974 года, которое я уже цитировала, рассказывает несколько эпизодов из биографии их общих предков:

«Отец нашей прабабушки Вари, по фамилии Чернев, служил казначеем Двора Его Величества. Спас в 1837 году, во время пожара Зимнего дворца, дворцовую кладовую, пообещав пожарным бочку водки, если они не пропустят огонь к кладовой. Николай I был на пожаре и сказал Черневу, чтобы он дал распоряжение выносить кладовую. Была зима, снег, мороз. Чернев ответил Государю:

– Если я прикажу выносить кладовую, то все вынесенные вещи сразу раскредут. Лучше дать бочку водки пожарным, чтобы они отстояли кладовую.

Николай Павлович согласился с Черневым, и пожарные отстояли кладовую. За спасение вещей Чернев получил потекинскую (потехинскую? – Н. Ч.) табакерку. Из золота и брильянтов прадед сделал дочерям серьги. Одна пара досталась бабушке Ане (Ильяшевич-Кошерина, которая в 1916 году приезжала из Петербурга в Старую Руссу. Группа перед верандой). *(Эта фотография с «группой перед верандой» и прабабушкой Аней в центре сохранилась в архиве Ю. Б. Софиева. – Н. Ч.)*

Одну пару серёг прабабушка Аня подарила Маме. Слоновая крышка табакерки с камеей Екатерины Великой досталась тёткам, которых очень любил брат прабабушки Ани, инженер-полковник Александр Чернев (при императоре Александре Третьем смотритель Аничкова дворца). Тётя Катя, как моя крестная мать, и которой я всё время помогал материально после революции, до самого начала войны (1941 г.), подарила эту крышку мне, как и чертежи садового ученика Родионова. Смотри книгу Т. Дубяго (родственница офицера 1-го Конно-горного дивизиона в Спасском) “Летний сад”, стр. 97, “Проект регулярного сада. Чертёж садового ученика Петра Родионова”. Все эти чертежи, как и многое другое, погибло у нас во время последней войны. Но зато мы с Мамой спасли себе жизнь...»

Лев собирал сведения о своих предках, но увековечил их – в Слове – Юрий, о котором в семье говорили, что он думает только о себе.

Лев тяжело пережил смерть матери. У него случился инфаркт. Ирина Братус писала Юрию, отчего сердце у Льва не выдержало: «Три удара потрясли его: смерть Макса, смерть матери и последнее – Ваш отъезд. Какая женщина, какие привязанности могут восполнить такие утраты? – Нет таких!»

Многие русские эмигранты прошли через такие трагедии, такие испытания, что сердце не выдерживало – разрывалось. Вот и у героев моего романа одинаковый диагноз – инфаркт.

Лев Бек-Софиев, Юрий Бек-Софиев, их мать Лидия Николаевна, Елена Люц, Виктор Мамченко, Мария Владимировна Кнорринг, Николай Николаевич Кнорринг, Илья Голенищев-Кутузов... Список может быть долгим.

Женился Лев только через несколько лет после ухода матери, в свой 60-летний юбилей. Правда, детьми обзавестись уже не успел. Ирина Владимировна Братус с сожалением писала Юрию Борисовичу по этому поводу:

«Мне обидно за Лёвушку: вот кому “к лицу” и к складу характера, к склонностям – дети, и в большом количестве. Он был бы прекрасным семьянином, отцом, хозяином в доме. Безумно жаль мне его! Я всё ждала известия о его счастливой женитьбе, хотелось видеть его в кругу семьи, детей, хорошей жены... Я всегда считала его очень цельной натурой, честным человеком, но в чем-то, в самом главном, не понимала его. Теперь поняла. Эгоистическая любовь Лидии Николаевны лишила его самых элементарных и необходимых человеку радостей жизни, ожесточила его и извратила в нём все понятия...

...Судя по последнему письму, он наконец нашёл своё “место в жизни” – обзавёлся своим домом и садом. Это как раз то, что ему не хватало в жизни. Очень рада за него! Но – детей-то нет...»

Так что единственный продолжатель рода Софиевых – Юрий. Он оставил сына – Игоря Юрьевича Софиева (1929–2005 гг., переводчик, литератор, несколько лет сотрудничал с Посольством Франции в Казахстане), трёх внуков: Алексея Игоревича Вышневого (живёт в Москве, работал в Посольстве Франции, в настоящее время на пенсии), Сергея Игоревича Кондруцко (спелеолог, живёт в Севастополе) и Ярослава Игоревича Софиева (Алматы), четырёх правнуков (я знаю только Андрея Алексеевича и Алексея Алексеевича Вышневских, живущих в Алматы. Андрей – финансист, служит в одном из казахстанских банков, Алексей работает в гостиничном бизнесе Интуриста, оба знают французский язык), и теперь уже у Юрия Борисовича Софиева есть праправнуки.

Два сына Игоря Юрьевича, Алексей и Сергей, носят фамилии своих матерей, так как были зарегистрированы до брака их родителей. И только третий сын – Ярослав стал Софиевым.

И вот, после войны, обретя вновь семью, Юрий, однако, не стал жить с матерью и братом, и вообще – ни с кем. Сын его Игорь продолжал воспитываться у стариков Кноррингов, а Юрий носился на велосипеде по дорогам Франции, писал стихи, любил женщин, созерцал Божий мир и ни о какой семье не помышлял.

\* \* \*

Елена Люц наверняка осознавала всё это: и бесконечную созерцательность Юрия, и его пассивность (он ведь не делал никаких практических шагов, чтобы

помочь ей с выездом в Алма-Ату, только давал советы и философствовал в письмах), и его «невзрослость», и неспособность к полноценной супружеской жизни, с ответственностью за семью. Юрий так и не набрался смелости объясниться с Виктором, объявить ему о своей любви к Елене. Он всё пустил на самотёк. Он предоставил Елене полную свободу в решении их общей судьбы. Она печалилась об этом, но – продолжала любить Юрия. И любила тем сильнее, чем невозможнее становилось их воссоединение. Любовь эта – виртуальная, умозрительная особенно после 60 лет – скорее всего, украшала её тяжёлую и однообразную жизнь, вносила в неё поэзию и спасала от одиночества и смертельной тоски. Елена и хотела переменить своё положение: оставить Виктора и уехать к Юрию, и – не хотела. Не хотела терять этого «романтического тумана» по имени Юрий, с которым сжилась и который мог легко рассеяться, переступи она магическую черту семейных уз.

«Романтический туман» присутствует, пожалуй, в любой семье. Женщина, даже бесконечно любящая своего мужа, инстинктивно создаёт условия охоты, когда она – ускользает, ускользает за кем-то другим, пусть даже придуманным, туманным, а муж – догоняет её, так как она – его законная добыча. Или наоборот: он – ускользает за своей несбыточной мечтой, за своим «романтическим туманом», а она – догоняет, ревнует, но чаще всего смиряется с третьим фигурантом в их союзе – с поэтической грёзой мужа. И не просто смиряется, а начинает эту грёзу тоже любить, как Зинаида Гиппиус полюбила русскую девушку Марусю, похожую на пушкинскую «капитанскую дочку», чистую и возвышенную, которую боготворил её муж, Дмитрий Мережковский. Как Вера Бунина влюблялась в «романтические туманы» Ивана Алексеевича Бунина. Как старорусская приятельница Юрия Софиева, Ирина Братус, всех сердечных подружек мужа сделала своими подругами, и сама тешила себя «романтическим туманом» – Львом Бек-Софиевым.

Так уж устроена женщина. Она состоит из любви.

И ещё – душевная близость Елены с Юрием подкреплялась её тоской по Родине. Ведь он для неё – не только «романтический туман», не только любимый человек, но и образ далёкой Родины, ниточка, соединяющая её с Россией.

Тоской по Родине пронизаны все её письма. И хотя строки стихотворения В. Мамченко о раненой птице не имеют посвящения, но они вполне могли бы быть посвящены Елене, и написаны, наверно, в размышлениях о судьбе эмигрантов-поэтов:

Давно тебе пора понять –  
 Не нужная ты больше певчей рати,  
 Ты бьёшься здесь за жизнь опять,  
 А радость там... Лети! Лети!

\* \* \*

О возвращении на Родину в семье Мамченко-Люц помышляли давно, с тех пор, как получили советские паспорта, и когда эмигранты стали один за другим уезжать. Мечта о Родине владела каждым русским сердцем. Русские готовы были к любой встрече со своими соотечественниками, и любое их слово, даже презрительное, считали благом:

Мы верим, ничего не замечая,  
В свои мечты. И если я вернусь  
Опять туда – не прежняя, чужая, –  
И снова к тёмной двери постучусь,  
О, сколько их, забытых, опалённых,  
Мне бросят горький и жестокий взгляд, –  
За много лет, бесцельно проведённых,  
За жалкие беспомощные стоны,  
За шёпоты у маленькой иконы,  
За тонкие блестящие погоны,  
За яркие цветы на пёстрых склонах,  
За белые дороги, за Сфаят!

И больно вспоминая марш победный,  
Я поклонюсь вчерашнему врагу,  
И если он мне бросит грошик медный –  
Я этот грош до гроба сберегу.

*Ирина Кнорринг. Я девочкой уехала оттуда... 1921 г.*

Эпиграфом к этим стихам взяты строки из Анны Ахматовой: «Темна твоя дорога, странник, / Полюнью пахнет хлеб чужой...»

Ахматова тут не случайна. Вл. Ходасевич в своей статье «Женские стихи» («Возрождение», 1931 г.) сравнивал И. Кнорринг с А. Ахматовой: «Кнорринг порой удаётся сделать “женскость” своих стихов нарочитым приёмом – и это уже большой шаг вперёд. Той же Ахматовой Кнорринг обязана чувством меры, известною сдержанностью, осторожностью, вообще – вкусом, покидающими её сравнительно редко».

Анна Ахматова была кумиром как для Мамченко и Люц, так и для Ирины с Юрием.

«...А сколько света, сколько взволнованной радости своими прежними стихами дала Ахматова людям своего, моего, Ирениного и последующим поколениям. Вся моя молодость, вся моя жизнь с Ириной пронизана сиянием её слов...» – писал Ю. Софиев в дневнике.

Стихотворение И. Кнорринг «Я девочкой уехала оттуда...» как бы ответ на ахматовские строки о презрении к изгнанникам.

Ахматова гордилась тем, что не бежала на Запад, «не предала» Россию, а вместе с нею пережила все удары судьбы: «Мы ни единого удара / Не отводили от себя...» На эмигрантов она глядела свысока. Даже после того, как стало понятно, что отказ от эмиграции для многих равносителен смерти. Даже когда муж её, поэт Николай Гумилёв, царский офицер, погиб с клеймом врага народа, а сын, с тем же клеймом, отсидел и тоже мог погибнуть, даже тогда Ахматова не отступилась от гордыни.

Трагическую судьбу мужа и сына она, можно сказать, накликала в стихотворении 1915 года «Молитва»:

Дай мне горькие годы недуга,  
Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребёнка, и друга,  
 И таинственный песенный дар –  
 Так молюсь за твоей литургией  
 После стольких томительных дней,  
 Чтобы туча над тёмной Россией  
 Стала облаком в славе лучей.

И всё сбылось, как она просила в пылу вдохновения: отняты были у неё и сын, и друг, но «туча над тёмной Россией» не стала «облаком в славе лучей». Туча налилась кровью многих безвинных жертв. Этим кровавым жертвам и сыну своему пропела Ахматова «Реквием», где обещала:

Буду я, как стрелецкие жёнки,  
 Под Кремлёвскими стенами выть...

И ведь «выла», а гордыни не оставила.

Но вечно жалок мне изгнанник,  
 Как заключённый, как больной.  
 Темна твоя дорога, странник,  
 Польшью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара  
 Остаток юности губя,  
 Мы ни единого удара  
 Не отводили от себя.

И знаем, что в оценке поздней  
 Оправдан будет каждый час...  
 Но в мире нет людей бесслезней,  
 Надменнее и проще нас.

1922

О слезах, о «слёзном даре» молила она потом Господа, когда «удары» стали нестерпимыми, но было ей отказано. «И каждому завидую, кто плачет, / Кто может плакать в этот страшный час...» – вот чем оплачена была её надменность, её непомерная гордыня. Душа, лишённая христианского милосердия, опустела. «Ей – опустевшей – приказал Всевышний / Стать страшной книгой грозových вестей...» – ужасалась Ахматова. Так что вряд ли «оправдан каждый час» гордецов «в оценке поздней». Тут много вопросов и сомнений...

\* \* \*

Даже те, кто процветал на чужбине, тосковали по Родине. В одной из открыток брат Юрия Софиева, Лев, признаётся: «Двадцать лет, прожитых здесь, за жизнь не считаю...»

А у Льва были хорошие заработки, к концу 70-х – комфортабельное жильё во Франции и в Швейцарии. Жена его, Мария-Луиза, семья которой эмигрировала

из Эстонии, работала в ЮНЕСКО, в Женеве, и они с мужем жили на два дома. Он приезжал к Марии-Луизе на уик-энды, и они забирались в горы, где Лев, как он писал, «ласкал собачек и ловил бабочек: павлиний глаз и сатиров». Когда в ЮНЕСКО была не слишком большая загруженность, Маша занималась и французской квартирой, хотя обустривал её в основном Лев, который любил комфорт и отличался дизайнерскими способностями.

Лев писал, что у них с Машей в общей сложности 17 комнат, которые, правда они убирают сами – слуг у них нет. Потом они квартиры продали и построили особняк под Парижем, перед ним разбили сад. Множество цветов украшало его – и на клумбах, и в глиняных горшках. Это был их маленький Эдем.

В письмах к брату Лев пишет об эмигрантском бытии унылые письма, где сообщал большей частью об уходе в мир иной русских эмигрантов. Но бывают и проблески – появились книги на русском языке: «Мы заняты выше головы. Читаем! Теперь наши эмигрантские издательства и газеты полны произведениями так называемого “самиздата”. Не знаю, попадают ли в ваши края эти писания? Зинаида (Шаховская. – *Н. Ч.*) получает их пачками. Есть разные направления, но читать надо. Всё же написаны эти произведения по-русски...»

А потом снова – печальный мартиролог:

«...На днях умерли Б. К. Зайцев и твой приятель Георгий Викторович Адамович...»

Недоумение по поводу советской жизни:

«...Я перестал переписываться с Ириной Владимировной (Братус. – *Н. Ч.*). Она мне сообщила, что моё одно письмо с фотографиями пришло к ним через 6 месяцев из Казани. Я предполагаю, почему это произошло, и не хочу их подводить, если письма вместо Ленинграда попадают в Казань»

И вина перед братом, который погиб, а он, Лев, выжил, ведь взять должны были и Льва. Лев Бек-Софиев искал следы брата:

«Я всё же ищу кости Макса, – писал он Юрию в Алма-Ату, – чтобы их предать захоронению по православному обряду, здесь, в могиле, где похоронена Ирина (Кнорринг. – *Н. Ч.*). Я им написал, что я ничего не скрываю, кто я и что я. Видимо, они не поняли смысл моего письма или напуганы связью с эмигрантами. Она (И. Братус. – *Н. Ч.*) написала Раисе Миллер странное письмо-открытку и спрашивает: «Здоров ли я?», полагая, наверное, что я сумасшедший. Я думаю, что при их положении лучше не иметь корреспондентов за границей...»

Ирина Братус не боялась переписываться с Львом Бек-Софиевым, более того, всегда ждала от него писем, она же его любила. Но она, конечно, хорошо знала, отчего происходят такие «недоразумения» на советской почте, о которых с недоумением и досадой пишет Лев Оскарович. Знал и Юрий Борисович. Письма перлюстрировались. За теми, кто поддерживал связь с заграницей, велось наблюдение. Например, к семье Софиевых был приставлен куратор из КГБ, они с ним были знакомы, он хорошо относился к своим подопечным. Муж мой, Игорь Юрьевич, рассказывал, что однажды куратор этот по-дружески предупредил Игоря Юрьевича, в доме которого собирались разные компании, об одном приятеле Софиевых, чтобы они с ним были осторожнее и не особо откровенничали, так как он работает на КГБ.

Наверняка такой же куратор имелся и у Братусов – и потому, что они получали письма из Франции, и потому, что брат Ирины Владимировны был репрессирован.

Но не это ввело её в замешательство, а просьба Льва Бек-Софиева помочь отыскать «кости» Максимилиана и переправить их во Францию. Просьбу Льва Бек-Софиева выполнить было невозможно. Именных могил в северных, да и в любых других, лагерях не ставили. Погибших бросали в общие ямы, и вряд ли когда-нибудь их прах будет опознан, потому затея Льва с перезахоронением Максимилиана под Парижем казалась Братусам тогда в самом деле безумной.

\* \* \*

На летних каникулах Лев Оскарович с женой Марией обычно путешествовал по Европе. Присылал брату фотографии то из Италии, то из Испании, Германии, Греции. Везде – хорошо одетый, холёный господин. В нём, конечно, чувствуется порода, благородное происхождение. Он приглашал Юрия встретиться в Швейцарии или, на худой конец, в Финляндии, раз уж он собирается поехать в Ленинград к Братусам. Это же рядом! Юрий не мог объяснить Льву, что для советского гражданина такие свободные передвижения по миру невозможны, да и денег у Юрия не было. Сам же Лев Оскарович навестить брата не мог: он не был реабилитирован советской властью, к тому же – продолжал ненавидеть её. Юрий предлагал ему всё же вернуться – теперь, когда возможно добиться реабилитации. Он стал бы работать биологом – по своей прямой профессии, а не каким-то инженером-механиком, как во Франции. На что Лев, который грезил Родиной, видел во сне себя ребёнком, в доме деда Родионова в Старой Руссе, гордо заявил: «Я ни за что не вернусь! Это было бы кощунством и хуже, чем расстрел! Ты к нам приезжай...»

Он звал его всё время. Вот, письмо 1974 года:

«Я давно Тебе писал, чтобы Ты приехал в отпуск к нам. У нас 5 комнат. Три внизу и 2 наверху. Кроме этого, 2 мансарды и т. д. Деньги на дорогу и на визу я перешлю через ваш банк, как мы делаем для Зули (старшая сестра Марии-Луизы. – *Н. Ч.*), которая уже три раза к нам приезжала из Варшавы. Сколько стоит виза семейная? Туристическая, говорят, 450 рублей? Эту сумму и на билет я пришлю. Обратный билет мы берём всегда здесь. Но можно взять и там... К Зинаиде Алексеевне (Шаховской. – *Н. Ч.*) её двоюродный брат приезжает на 3 месяца. Приезжай и ты к нам!»

Но Юрию Борисовичу врачи запретили летать на самолётах – из-за болезни сердца. А другие болезни удерживали и от поезда, как и друга его, Виктора Мамченко.

\* \* \*

В одном из писем к Ю. Софиеву В. Мамченко пишет:

«...Одоевцева говорит: “Умиравший Жорж убеждал меня хоть пешком бежать в Советский Союз от хамов и сволочи эмигрантского болота...” И этим словам Одоевцевой я верю: так, вероятно, и говорил умирающий Иванов...»

И Мамченко тоскует по Родине, и он тоже хотел бы «хоть пешком бежать» туда, но его держат телесные немощи. Он жалуется Юрию, что даже летние поездки на южное побережье для отдыха стоят ему огромных усилий, и он долго приходит в себя после этих перемещений. Его приглашали в Москву, и он думал всю зиму об этом путешествии, но не решился ехать, опасаясь немедленно оказаться в клинике. А вот Елена – в конце 50-х, в 60-е – помышляет



о поездке всерьёз. Готовит необходимые документы для этого, бегаёт по инстанциям – но не едет. Её тоже приглашают в Россию, с группой волонтеров, переводчицей, и она планирует вроде поездку, и приглашает Юрия с собой, но снова – не едет. Почему?

Вначале Люц не ехала из-за матери и денег. Потом мать умерла. Пенсия накопилась приличная. Ничто больше не держит – поезжай! Нет, она снова тянет, снова ссылается на нехватку денег, их съедают текущие расходы. Уйма средств уходит на лечение зубов Виктора. Если подумать: что значат зубы против великой любви и стремления влюблённых быть вместе, тем более, когда уходят годы и надо торопиться? Нет, зубы перевесили всё. На них потрачены заветные 35 000 франков, отложенные на дорогу в Алма-Ату.

Похоже, Мамченко тоже придумывал разные предлоги, чтобы удержать жену подле себя. Вроде и не сопротивлялся её отъезду из Франции, и понимал её мечту вернуться на Родину, но и приходил в ярость, едва она заговаривала об этом. Вряд ли двигали им только эгоистические мотивы, хотя и это, конечно, было, ведь расставшись с женой, он терял материальную поддержку и, стало быть, саму жизнь. Многолетнее существование «профессионального больного» и неспособность зарабатывать перекрывали ему кислород. Он не получал никаких пособий или пенсии, так как жил с советским паспортом. Ионовна, которая была около него, не могла быть ему опорой. Заработки её были случайными и редкими. Иногда она торговала книгами Виктора. Иногда давала уроки русского языка. Кроме того, она была обременена своей семьёй: дети, внуки, больная мать, больной брат. Постоянная нехватка денег. Нищета. Елена, понимая это, хотела обеспечить Виктора средствами, оставив свою пенсию или посылая деньги из Алма-Аты, если бы уехала.

Он, может быть, помыкал Еленой из гордости, что вынужден жить за её счёт, от бессилия вернуть её прежнюю любовь к нему. Виктора с Еленой связывала давняя вина Елены. Другу он, может, и простил, а с женой был непреклонен и до конца дней казнил её: «Ты сломала мне жизнь, ты – преступница!» Он выкрикнул ей однажды, что в появлении у него Ионовны тоже Елена виновата – её охлаждение к нему, её любовь к Юрию.

Вот Люц и замаливала свой грех, и считала, что болезнь Виктора – наказание ей, возмездие. И благодарила Господа за то, что Он остановил её, оставил с Виктором, и она разделила с мужем его печальные дни, когда он тяжело заболел, не бросила, иначе бы никогда не простила себе его гибели. Она была глубоко верующим человеком, в отличие от любимого Юрия, потому и мучилась больше, чем он. Она в самом деле была «птицей, залетавшей к ангелам», как любил повторять Юрий, а первым заметил ангельское в ней Дряхлов, который когда-то вместе с Виктором работал маляром и часто бывал в их «козьей хатке» в Медоне.

Елена причастилась к ангельской кротости и чистоте.

На словах – бунтовала против жестокостей жизни, из которых всё нет и нет выхода, а на деле – стойко переносила испытания, терпела тяготы выпавшего ей бытия, и «смирилась с судьбой», в чём упрекал её неоднократно Юрий Софиев и даже винил, сожалея о том, что она добровольно сжигает себя, отказывается от себя, от личного счастья ради жизни других людей. Но «другие» – были её семьёй. Мать. Муж. За них она билась до последнего. Несколько раз возвращала мать из

«коридора смерти». Подняла на ноги безнадежного, по словам французских врачей, мужа. Она поверила безоглядно выходцу из России, тоже доктору, который обещал, что Виктор не только станет ходить, но и писать стихи. А французские эскулапы не давали Виктору и месяца жизни после инфаркта и паралича. Французов она не хотела больше слушать. Она спасла его. Она отдала ему свои силы и волю к жизни, а сама – сама думала о смерти, как об избавлении от страданий, как о блаженстве, ибо тогда, говорила она, развяжутся все неразрешимые узлы. Она не боялась ухода и, как истинная христианка, готовилась к нему с кротостью и верой в просветление души.

Великим милосердием и любовью была одарена эта удивительная женщина. Ведь она даже соперницу свою, Раису Миллер, простила и в последних письмах своих говорила Юрию: «Раиса любит тебя по-настоящему – не будь с ней жесток...»

Простила и несчастную Ериньку – Елизавету Владимировну Ионову-Галл, к которой Елена привыкла и даже по-родственному жалела, когда та болела или терпела грубости Виктора. Жалость эта вызывала ревность Мамченко: «Он ко мне её сильно ревнует. Её мне очень жаль, совсем замученный, ободраный “заяц”...»

Ионова стала членом их семьи, и Елена то и дело говорит: «наша Еринька», «наш заяц», и будущую свою пенсию собирается делить и с нею, потому старается заработать как можно больше, чтобы хватило на всех.

А уж Мамченко она простила и подавно, оправдав давнее пророчество Юрия: «В конце жизни вы простите друг друга...»

И никогда не считала себя святой, а своё милосердие чем-то из ряда вон выходящим. «Дело не в святости, – говорила она. – Дело в русской культуре...»

Да, и в этом была «странность» русских!

Через расстояния заботилась она и о Софиеве – собирала ему посылки, посылала книги, давала медицинские советы и всё время спрашивала, почему он один? Он не должен быть один, особенно когда у него стали отказывать ноги. Он должен жить со своей семьёй.

Так потом и произошло: Игорю и поэтессе Людмиле Лезиной Союз писателей Казахстана выделил двухкомнатную благоустроенную квартиру. Они поменяли её и комнату Юрия Борисовича в бараке – на большую, 3-комнатную в 1-м микрорайоне Алма-Аты. Юрий Борисович, конечно, вздыхал о своём саде, о вольном житье, но смирился и даже поначалу радовался, что у него отдельная солнечная келья, что в доме есть все удобства, и даже в аптеку и на почту ходить не надо – всё делает Мила, сноха его. После операции Юрий Борисович сильно сдал и с трудом передвигался по квартире, но продолжал работать в институте зоологии: работу ему привозили на дом, так как не было ему замены, не было художников-иллюстраторов, которые бы так же хорошо знали мир животных и делали точные изображения. В одном из писем к друзьям он шутит, что молодые художники института вместо амёб рисуют ужасных монстров.

Он угасает. Но не хочет с этим мириться. Только теперь понял он глубину настоящей любви, научился терпеливой нежности. Многое открылось ему. Теперь бы только и начать жить – целомудренно, правильно и праведно. Ан, нет! Кончается жизнь... А может, есть ещё время? Он ведь всё ещё пишет стихи, и сам удивляется этому – в его-то годы!

Глубокая ночная тишина.  
Вдали огни мерцающие –  
город.  
Жизнь выпита почти до дна,  
Так неожиданно и скоро,  
А жажды я совсем не утолил  
И не стою, склонившись у колодца.  
Так молодо, так сильно  
сердце бьётся,  
И кажется – ещё совсем не жил...

### «ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ РЕКА»

Лирической поэзии река! –  
Как Млечный Путь на августовском небе,  
Как жизнь – непостижимо-глубока,  
Жизнь – вопреки всему!..

*Ю. Софиев*

Он плыл по реке лирической поэзии, впадающей в Млечный Путь, и не видел дна. И река эта помогала ему выжить, хотя оставляла на сердце всё больше рубцов – не образных, а самых настоящих, смертельных. Инфаркты. Клиники. Угасание сил. Угасание памяти. И он торопится запечатлеть в дневнике свои «видения» и воспоминания, пока они не стёрлись беспощадной старостью. Всё реже приходят собственные поэтические строки, но он неизменно полон «магией поэзии», «магией слов»:

«Возможно, что мир я воспринимаю глазами и сердцем, но претворяется это видение в звучание, ибо в стихах у меня всегда основное – “магия слов”, “магия поэзии”. Через “магию слов” воспринимаю я и стихи. “Магия поэзии” – волшебное сочетание звуков:

Выхожу один я на дорогу,  
Предо мной кремнистый путь блестит.  
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу  
И звезда с звездою говорит...

К этому я возвращаюсь постоянно...»

Под окном его комнаты кто-то говорил по-казахски – горячо и громко. Он не понимал смысла, но звучание слов – резкое, как утренний запах полыни, притягивало. Он слушал и слушал, и видел за этими словами голубую дымку степи, золотого коня, бесшумно летящего на горизонте. Конь словно парил в воздухе, словно и в самом деле были у него крылья. Вот сейчас коснётся земли, ударит копытом – и забьёт магический, священный источник. Степная Иппокрена.

Как бы хотелось очутиться сейчас в степной экспедиции, как бывало раньше. Ходить с учёными зоологами и археологами к древним скалам, где высечены рисунки охоты, ритуальных танцев и прекрасных в своей откровен-

ности актов любви. «Жизнь – вопреки всему!» Может, и художник, и герои его рисунков через мгновение были сметены стадом свирепых мамонтов или поражены молнией, но сейчас они – полны Жизни, и поют гимн этой Жизни – окружённые сиянием, солнцеголовые человечки. Если подумать, то ведь и он сам был похож на них, был – солнцеголовым. Любил Жизнь, любил неукротимый Эрос, пел гимны Эросу и Жизни. Во всём, везде улавливал он «магию поэзии». Бытие без поэзии бессмысленно и пусто. А поэзия бессмысленна и пуста без любви.

Он перечитал последнее письмо Елены и последнее письмо Раисы. Они колебались в его руках, как две чаши весов, полные трепетных белых лепестков. И только память об Ирине была неизменна и неподвижна. Она похожа на вечную печать, положенную на сердце, как в Библии: «Сильнее смерти любовь, и печатью лежит на сердце...» Вот, глядит с портрета – виновато и грустно, будто говорит: «Что вы сделали со мной?» – как умирающая жена князя Андрея Болконского в «Войне и мире». «Что вы сделали со мной...»

Он спрятал письма в ящик стола, обшарпанного, исцарапанного гвоздём – внук старался, пробравшись однажды в его комнату. Из переполненного бумагами стола вывалилась старая записная книжка. Он листнул её. Забытые стихи. Когда, кому он их писал?

Перед близкою разлукой,  
Перед дальнею дорогой,  
Друг мой милый, дай мне руку,  
Успокой мою тревогу.

Я, как дальний парус в море,  
Спору с крепкими ветрами.  
Часто в этой схватке горе  
Становилось за плечами.

Неизбывные утраты  
Часто множились судьбою.  
Вечно сердце вдаль когда-то  
Гналось за пустой мечтою.

В новой жизни что-то будет?  
.....  
Только сердце не забудет  
Друга милого в Париже.

Перед близкою разлукой,  
Перед сборами в дорогу,  
Друг мой милый, дай мне руку,  
Дай мне братскую подмогу.

26.08.43 г.

Париж

«Перед дальнею дорогой» – вероятно, перед отправкой в Германию, на работы, куда фашисты забрали Ю. Софиева через несколько месяцев после смерти его жены, Ирины Кнорринг. А стихи написаны, кажется, Рае Миллер. Ну да, вот и полустёртые буквы посвящения: «Р. М.»...

Эта записная книжка сохранилась, и стихи сохранились. А в книжку было вложено письмо Раисы Николаевны Миллер 1973 года, и в нём уже её стихи посвящённые Ю. Софиеву, перед другой его дорогой – на родину, осенью 1955 года:

«Ты помнишь, милый,  
ту дорогу,  
Что к дому нашему вела?  
Сиянье глаз моих влюблённых –  
Такой в то время я была.  
С тобой по ней не раз ходили...  
Иль это сон души усталой?  
Осенний лист сухой и вялый  
Шуршит и шепчет – было, было...

Молюсь о твоём здоровье и о нашей встрече. Верю в чудеса, т. к. каждая моя поездка на родину разве не чудо? Могла ли я раньше об этом мечтать? Уже прошло 17 лет со дня твоего отъезда. Целая вечность! С нашей последней встречи – 5-й год. Закрывая глаза, вижу твоё лицо и улыбку. Всегда её любила. А вот голос твой редко звучит в ушах. Часто твои стихи вспоминаю, твою манеру их читать, и тогда слышу и голос. Ясно представляю, как ты шёл к нам... А наши прогулки на мостик...»

\* \* \*

Да, в самом деле – «было, было, было...», как вздыхал о прошлом А. Блок. Но, не успев написать стихи, посвящённые Раисе Миллер, перед принудительной его отправкой в Германию в 1943 году, не успев проститься с нею на «мостике», прогулки по которому она вспоминает в 1973 году, поэт Софиев уже стоит на другом – «на каменном мосту», с другой женщиной, о которой с удивлением пишет:

Кому понадобилось, чтоб дрожала  
Горячая рука в моей руке?  
И чтобы ты, почти в бреде, шептала  
Слова на чужеродном языке?

Кому понадобилось? – Ясно кому: неутомимой телесной природе самого поэта, а главное – Музе его. Он признается в дневнике: «...Девушки очень занимали моё воображение. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что с 7 лет я был “перманентно” влюблён. Причем это была весьма идеальная и чистая влюблённость, как-то совсем не связанная с вожделением...»

В семь лет – конечно, влюблённость его никак не была связана с вожделением. Но тут ему уже за сорок. Несомненно, всё начиналось с поэзии. Да и заканчива-

лось, собственно, поэзией, и потому грех, если и был, то он оправдан стихами, он очищен в огне поэтического Слова.

Короткая связь с девушкой по имени Лиля Е., которая пела ему «песни родины на чужеродном языке», вызвала взрыв вдохновения у Юрия Софиева. Лиля, вероятно, была с Украины, так как в стопке открыток, где я нашла письмо от неё, послания от украинских девушек Анны и Нины Гущи. Они благодарят Юрия Борисовича за дружбу и поддержку: «Вы были здесь для нас самым близким самым дорогим другом в этой скучной стране в такие молодые наши годы. Не забывайте нас, а мы Вас никогда не забудем. 1943 г. Одерберг».

А вот открытка от самой Лили Е. Она в стихах:

«Никто души моей не знает,  
И чувств никто не может оценить.  
Как счастлив тот, кто всё на свете забывает.  
Могу ли, могу ли дружбу и Вас забыть?»

Желаю счастья, здоровья и скорого свидания со своим сынишкой. Лиля. Oderberg, Deutschland, 4 августа 1943 г. Л. Е.».

Девушка не чужда поэзии. Видимо, это ещё больше сблизило их.

Юрий Софиев пишет цикл стихов «Шумели сосны», который он обозначил как сюита, что, по сути, то же самое – цикл, но поэт хотел, видимо, подчеркнуть, что воспоминания его пронизаны особой музыкой. И песни этой девушки уверили поэта в том, что нет ничего лучше Родины:

Но ты стала чудесным предвестьем  
Мне о встрече с родимой страной,  
Будто Родина выслала с вестью  
И в тебе обретается мной!

Стихи написаны в 1945 году, а события, как мы теперь знаем, происходили раньше, когда Софиев был угнан на работы в Германию, как и украинские девушки: Анна, Нина Гуща, Лиля Е.

Это было лето либо осень: «Помнишь, колосилось поле ржи». Но – и «Тот городок в апреле поневоле / В сирени окончательно увяз! Сияние твоих счастливых глаз! / Сиянье, нестерпимое до боли!» Значит, и весной они были вместе, то есть несколько месяцев, которые он вспоминает с благодарностью, так как девушка Лиля была для него спасением:

Как озябшее сердце согрела  
Теплота твоих девичьих рук.

И он с нежностью думает о ней:

И в памяти моей живой и вечной  
Остались навсегда – тепло руки,  
Отчаянно беспомощные плечи,  
Барак и бранденбургские пески...

Но в это время – 1943–1944 годы – он получает письма из Франции, от Елены Люц, с которой у него завязался роман, а в 1945-м – роман разгорелся с новой силой, и инициалы «Л. Е.» – это не только Лиля Е., это и Люц Елена, с которой он жил, вернувшись из Германии. Жил втайне от Виктора Мамченко.

Елена как-то обмолвилась в письме к Юрию, что у него в стихах целые строки, посвящения разным лицам, без вариаций потом встречаются в других стихах, с другими посвящениями, и в продолжение многих лет. Так что это обычная практика для поэта Ю. Софиева: перемешивать события и чувства, менять персонажей и место действия. Так и другие поэты поступают. Да и романы у них нередко происходят – параллельно и одновременно, как и в случае с Лилей Е. и Еленой Люц.

\* \* \*

Стихотворение Ю. Софиева «Остров Рэ» могло быть посвящено и Елене Люц, и Раисе Миллер (он путешествовал с обеими по очереди), но явно кому-то из них. Потом я узнала, что всё-таки Раисе Миллер. Он сам пишет об этом в дневнике: «Помнишь, Рая, остров Рэ? Мне было очень хорошо с тобой, и помнишь, как меня тянула даль?.. Помнишь, как ты соблазняла меня домиком, снятым для нормального, “по-человечески”, отдыха, с прогулками и т. д., а я с высунутым языком (в 48 лет!) метался на велосипеде по чудесным дорогам Франции и был счастлив!..»

Там есть такие строфы:

Ты долго взглядом пристальным следила  
За силуэтом, тающим вдали.  
Когда ж вернулся я – ты удивилась,  
Как резкий ветер кожу опалил.

И ты, смеясь, сказала, что тебя  
Обуревают грешные желанья.  
У ног твоих в песок зарылся я  
В бездумном и блаженном созерцанье!..

Мне важна тут одна деталь: женщина хотела плотских отношений с Ю. С., а он – предавался «бездумному и блаженному» созерцанию, именно оно давало ему вдохновение, а женщины, и эта, и другие, влюблённые в него, только необходимый поэту фон. Женщина вдыхала в него уверенность в себе, поддерживала в нём огонь мужской самооценности. Он, как бы вместе с женщиной, любовался собою: «Ты долго взглядом пристальным следила / За силуэтом, тающим вдали...» Он глядел на себя глазами этой влюблённой женщины, и потому всё вокруг ему казалось прекрасным, овеянным поэзией, где главной фигурой был – он, так как женщину он вообще не описывает. Она его интересуется, похоже, только как объект, влюблённый в него, подчёркивающий его прекрасный мир, «солёным ветром, морем, солнцем полный». Она жаждет его! Больше ему от женщины сейчас ничего не надо. Он добился своего и может предаваться дальше «блаженному созерцанию». У ног покорённой им женщины, но всё равно – над ней, потому что: «Простор и даль меня всегда влекут», а то, что рядом, – быстро приедается.

Скучно поэту. В земной жизни, даже на фоне великолепных пейзажей, ему всё время скучно. И созерцал поэт уже, скорее всего, не «дальний мыс, открытый волнам», и не весь остров Рэ, который «пустынен и горяч», где «индиго много, много яркой охры», а свою душу – себя внутреннего, божественную музыку внутри себя. Он был настолько уже полон поэзией, что всё было скучно. Любая новая капля – лишняя, пока накопленная полнота не прольётся стихами.

В другом селении, что лежало на пути велосипедного путешествия, в Перигоре, в придорожном кафе они говорили о Монтене. И вспоминали его слова: «Я люблю речь простую и наивную, / Как на бумаге, так и в произношении». И в стихотворении Ю. Софиева «В простом кафе убогого селенья...» есть важное откровение о нём самом, о цели этих путешествий: «Вот так и мы с тобою жадно копим / Сокровища, скитаясь по земле...» (то есть сокровища поэзии, «простые и наивные слова»). И снова – спутница его смотрела влюблённо на Софиева, говорила долго о Монтене, а он, Софиев – «смотрел в окно». Снова – отрешённость, погружение в себя, свои поэтические фантазии, снова «блаженное созерцанье» – на фоне чужой речи:

За ним на фоне горного ландшафта  
Курчавый виноград, луга, леса,  
Извилистой дороги полоса –  
По ней к Дордони мы поедem завтра.

Мишель Монтень здесь юношей безвестным  
Ел козий сыр, вино густое пил,  
И перигорских девушек любил  
В краю лесном, весёлом и прелестном...

И, может, не слышал Поэт этой чужой речи, ничего не слышал, кроме музыки в себе? А когда говорил сам – «о том, о сём, о дружбе», то не беседуя, «а вслух размышляя», то есть оставался неизменно сам с собой, никого не впуская в свою «башню из слоновой кости», в свой, всегда уединённый, тихий, сияющий небесным светом, Дом Души? И только с Ириной Кнорринг он ненадолго выходил из этого своего одинокого Дома и позволял ей опереться на своё живое, а не мифическое, плечо:

Ты оперлась на меня. Перед нами  
Вспугнутой птицы сверкнуло крыло...

*Сен-Мало*

Уж не Музы ли крыло сверкнуло? Не её ли вспугнула земная женщина, которая отнимала у Музы Поэта? Ведь любил он эту женщину глубоко и по-настоящему, а значит, смертельно. Остальных – бегло, кратко либо издалека. А Ирину Кнорринг – всей кровью, и потому: «Дни эти стали сочтёнными днями / В древнем, разбойном гнезде Сен-Мало...» Любимая женщина была отнята, а остальные – оставлены надолго, ибо не были опасны для Музы. Они по-прежнему составляли фон Поэта, подпитку его вдохновению и мужской состоятельности: он ведь связывал воедино творчество и Эрос. Но всё же истинная поэзия была ключом



оттуда, где пребывала теперь Ирина Кнорринг – из невозможности, из небесных пределов. Печаль питала Поэта, усиливая его любовь к единственной и чистой – рядом с живыми и грешными. И – чужими. Хотя в письмах к ним он неизменно говорит: «родные». Родные по жизни, но не по душе. Неслучайно стихотворение Ю. Софиева «Сен-Мало» начинается с этого магического образа:

Крест одинокий над морем стоит –  
Мы на могиле Шатобриана...

«Одинокий крест» неоднократно рисовал Юрий Софиев на обложках своих альбомов и папок со стихами. Перефразируя стихотворную строчку, можно было бы сказать: «Крест одинокий над миром стоит». Над миром Поэта. Поскольку именно трагедии питают его стихи. И не зря далее идёт перечисление всяческих бедствий, сопровождающих Поэта, и заключение:

Кто-то им щедрою мерою мерил,  
Каждого щедро бедой наградил...  
В спящей Флоренции Дант Алигьери  
Кутался в плащ и коня торопил...

Дант вспомнят тоже не случайно: он такой же изгнанник, такой же скиталец, как и Ю. Софиев. И это Дант описал круги ада, и это он открыл замысел Творца небесного, допускающего поэта земного к дару Певца. Дант также пел, опершись на «крест одинокий», вознесённый над миром. На крест своей богоподобной Беатриче. «Кто-то», отмеряющий щедрою мерой беды, это – Бог. Софиев не признаёт Его, спорит с Ним, но Он всё равно присутствует в его жизни. Он не отменим никогда. Бог отмечает Поэта, Он показывает ему миры земные и небесные. И знание это только Поэта не сжигает сразу же, потому что огонь этого знания, непосильного для многих смертных, огонь этот перекидывается в стихотворные строки, переплавляется в целительную Поэзию, как смертельная энергия солнца – в энергию жизни, как разрушительные звуки Космоса – в прекрасные музыкальные гармонии.

\* \* \*

Работа не шла. Вместо заказанных институтом рисунков обитателей пустыни Юрий Борисович набрасывал то нежный овал Елены, то бегущую к реке обнажённую Таю – его недолгую, но мучительную любовь, то стирал всё ластиком и привычными штрихами оживлял глаза Ирины, полные печали. «Острым пером на листе бумаги / Черчу твой профиль, радость моя...»

Так Пушкин на полях своих рукописей чертил профили своей Музы. У Поэта всегда есть единственная женщина, сокровенная, даже при наличии множества других, тоже любимых и близких, но только сокровенная, равная Музе – «радость моя». У Юрия Софиева такой Музой была жена его, Ирина Кнорринг, которая рано ушла из жизни, в 37 лет. Стихи её признаны наиболее точной иллюстрацией такого литературного направления, как «Парижская нота».

Поэзия Юрия Софиева – яркая, здоровая, полная радостной жизни, отличается от меланхолической поэзии Ирины Кнорринг – простодушной, незащитной, глубоко-

ко искренней, и всё-таки – немного книжной. Это, наверное, и объяснимо. Ирина попала в эмиграцию девочкой-подростком, а Юрий уже взрослым человеком, который прошёл войну, который был во всём более самостоятельным, а Ирина жила под покровительством, под любовным, но строгим приглядом «Папы Коли» и «Мамочки» (так она их называет в своём дневнике). Отец контролировал каждый её шаг и оберегал от дурных влияний, например, от ухаживаний известного сердцееда Антонина Ладинского. С ним Николай Николаевич разговаривал серьёзно и резко и требовал не совращать Ирину. Были нелёгкие объяснения и с Юрием Софиевым в пору его жениховства. Ирина жила под постоянным родительским приглядом. Даже дневники её прочитывались, не говоря уже о стихах.

А потом, тяжело заболев, она и вовсе смотрела на мир только из окна своей комнаты или госпиталя, где подолгу лежала. Жизнерадостная, весёлая от природы, она была съедена болезнью и превратилась в молчаливую, печальную тень.

И хочется крикнуть: «Мне больно!  
Я долго, я страшно больна!»  
Над чёрной, ночной колокольней  
Блестит неживая луна...

Может, потому так много боли в её стихах, о чём пишет и близкий друг их семьи, Юрий Терапиано (*«Встречи»: 1926–1971 гг.*): «Поэтическое наследие И. Кнорринг – это человеческий документ, повесть о суровой прозе эмигрантской жизни, о беспощадном крушении надежд...»

А Юрий Софиев – полный сил, горящий молодыми эмоциями и страстями, жил бурно. Он много размышлял, много повидал, странствуя по свету, он получал образование в Белградском университете, где преподавали известные профессора, уехавшие из России, и во Франко-Русском институте в Париже (правда, учился не особенно прилежно). Во Франко-Русском институте училась и Ирина Кнорринг. Он много разговаривал с писателями и своего поколения, оказавшимися в эмиграции, и с русскими классиками – Иваном Буниным, Куприным, Цветаевой, З. Гиппиус, с Ремизовым, Шмелёвым, Борисом Зайцевым и другими. Это активное общение, несомненно, и воспитывало его, и оттачивало его творчество, и давало простор его воображению.

Юрий Терапиано в статье «Блистательный Монпарнас» (*«Встречи»*) так говорит о спорах поэтов на Монпарнасе:

«Как-то один из участников таких собраний обмолвился: “Монастырь муз”. Действительно, многие проходили на Монпарнасе своеобразную аскезу. Сколько огня, искреннего желания проникнуть в суть литературных и метафизических вопросов, сколько усилий, сколько прочитанных книг требовалось от “монпарнассцев”!

Пруст, Андре Жид, Джойс, Кафка, Гоголь, Достоевский, Толстой, Розанов, К. Леонтьев были постоянными предметами споров и обсуждений. Новые книги – русских, французских, немецких, английских и итальянских авторов, статьи в журналах, стихи самых разнообразных поэтов – о чём только не говорили на Монпарнасе! Об отношении к искусству, об отношении к делу поэта: анализ прошлых литературных течений русских и иностранных, анализ современных, а главное – проверка своего собственного отношения, поиски своих путей: чем

не должна быть поэзия, отталкивание от фальши, от позы и громких слов, от “литературности”.

Незаметно, в течение нескольких лет, на Монпарнасе вырабатывалось и создавалось то новое поэтическое мироощущение, которое вылилось потом под именем “Парижская нота”...

А сколько было разговоров о духовных, религиозных, философских и мистических вопросах – не все, но некоторые проводили свободные часы в библиотеках за чтением, на лекциях в Сорбонне, на различных беседах.

Вторая половина двадцатых и первая половина тридцатых годов явилась воистину героическим периодом в жизни парижской молодой литературы.

Незаметно, безо всякой преднамеренности, сам собою, создавался как раз тот “таинственный заговор о самом важном и главном”, который хотели создать в “Зелёной лампе” и у себя на “воскресеньях” Мережковские.

Создавался особый “климат духовный” – многие участники монпарнасских собраний ему обязаны.

Монпарнас тех лет был как бы орденом “Рыцарей бедных”, связанных общностью устремления и мироощущения...»

Юрий Софиев как раз был одним из этих «рыцарей бедных» молодой эмигрантской литературы, и потому его так неудержимо тянуло каждый вечер на Монпарнас. А Ирина, обременённая ребёнком, бытом, тяжёлой болезнью, рано отошла от литературной жизни, замкнулась в себе, в четырёх стенах, в книгах, да она и не любила шумных компаний, тушевалась там, робела, томилась.

Отец её, Николай Николаевич, в «Книге о моей дочери» вспоминает слова своего партнёра по оркестру, Павла Николаевича Милюкова, сказанные в адрес Ирины: «Когда мы играли у Милюкова в квартете, он как-то бросил: “Приводите вашу барышню, если она не особенно дикая”. П. Н., по-видимому, сразу подметил у Ирины черту феноменальной застенчивости, которую она, вместе с большой долей пессимизма, получила от меня по наследству».

Она не умела спорить, быть в центре внимания, как это удавалось всегда Юрию. Сидела где-нибудь в уголке тихой мышкой и молчала, наблюдая за литературными баталиями. Спорщики были похожи на молодых волчат, которых не на шутку растравили.

Юрия огорчало её молчание, её пассивность. Он сердился. Он был недоволен Ириной. И вскоре она перестала вовсе посещать монпарнасские собрания. Она любила тишину и уединённость.

Мне некогда смотреть на облака.  
 Весь день в работе согнута рука.  
 Нет сил поднять отяжелевший взгляд  
 И разобрать, кто прав, кто виноват.  
 Я никогда счастливой не была, –  
 Весь день большие, важные дела:  
 Любить, растить, заботиться, стареть,  
 И некогда на небеса смотреть...

Георгий Иванов, прочитав её посмертную книгу «После всего» (1949 г.), писал в своей статье «Литература и жизнь: поэзия и поэты» («Возрождение», 1950 г.):

«Ирина Кнорринг всегда, а в последние годы жизни особенно, стояла в стороне от пресловутого “Монпарнаса”, не поддерживала литературных связей, одним словом, не делала всего необходимого для того, чтобы поэта не забывали, печатали, упоминали в печати. И потому даже её последняя книга почти никем не была отмечена со вниманием и сочувствием, которые она заслуживает...

Кнорринг была не очень сильным, но настоящим поэтом. Её скромная гордость и требовательная строгость к себе, мало кем оценённые, будут, я думаю всё же со временем вознаграждены. У скромной книжки Кнорринг есть шансы пережить многие, более “блестящие” книги её современников. И, возможно, что, когда иные из них будут давно “заслуженно” забыты – бледноватая прелесть стихов покойной Ирины Кнорринг будет всё так же дышать тихой, не яркой, но неподдельно-благоуханной поэзией»

Слова Георгия Иванова оказались пророческими. Но тогда, в тридцатые годы, когда на Монпарнасе кипела литературная жизнь, и муж Ирины, Юрий Софиев, был в центре этой жизни, Ирина думала не о «бледноватой прелесть» своих стихов и не о посмертной славе, а переживала горькие минуты семейного разлада:

Мы в жизни мучительно разные,  
Иными не стать никогда.  
Мы тоненькой ниточкой связаны  
На не золотые года.

.....  
И в ночи высокие, синие,  
И в зимние мгlistые дни,  
Как две параллельные линии –  
Навеки – без цели – одни...

Юрий уходил от неё всё дальше и дальше – по своей «параллельной линии». У него появились только свои друзья, и ещё – женщины, ещё – любовные романы. Он, конечно, угрызался этими изменами, но был не в силах справиться с бунтующей, молодой плотью. Когда же Ирины не стало, он искренне горевал, но, может, совесть его тогда успокоилась, а плоть была отпущена на дозволенную, наконец, свободу, которую предвидела, предсказывала ему Ирина ещё в 1936 году в стихотворении «Я покину мой печальный город...»:

...И вдали от горестной могилы,  
Где-то там, в пути, на склоне дня,  
Вдруг почувствуешь с внезапной силой,  
Как легко и вольно без меня...

Вот эти печальные предчувствия, эта «параллельность» существования с Юрием и толкнула, видимо, Ирину к «воображаемому» роману. Сын её, Игорь Софиев, пишет об этом в главе «Окно в столовой» (*«Монпарнасские сны»*. Простор, № 3, 1997 г.):

«В её дневнике за 25 октября 1934 г. есть такая запись:

“Иногда я задаю себе вопрос, смогла бы я изменить Юрию? С некоторых пор я уже стала отвечать на него утвердительно. Теоретически, конечно, практически этот вопрос не ставился”.

Надо сказать, эта запись была сделана после многочисленных и довольно серьёзных ссор с отцом на бытовой почве, отчасти связанных с его любовными похождениями, что явствует из предыдущих страниц дневника.

Конечно, мать, как все молодые женщины, да ещё с сильно развитой эмоциональностью, время от времени влюблялась, однако, судя по её дневникам, такая влюблённость никогда не заходила за рамки лёгкого светского увлечения и не имела никаких последствий.

И всё же одно такое увлечение матери перешло в более глубокое чувство, и его последствия в какой-то мере отразились на определённом периоде жизни нашей семьи.

В начале 30-х годов в Париже жил известный славист, профессор парижского университета Борис Унбегаун, с женой и дочерью – на два года младше меня. Елена Ивановна (Унбегаун) как-то была связана с литературой, делала какие-то доклады на литературные темы и была, кажется, членом Союза молодых русских поэтов и писателей. Мать с ней поддерживала дружеские отношения. Жили Унбегауны около Люксембургского сада, и очень часто ходили туда гулять – две матери со своими отпрысками.

Я, конечно, не знаю, как начался роман матери с Борисом Унбегауном. Мы часто после прогулки вчетвером заходили к ним домой, и однажды, проходя вдвоём с матерью по длинному коридору их квартиры, мы вдруг встретились с самим Унбегауном, стоящим у входа в одну из комнат с множеством книжных полок – наверное, это был его кабинет. И я до сих пор помню то чувство детского недоумения, которое меня охватило при этой встрече: на меня как-то перестали обращать внимание, Унбегаун взглянул на меня с каким-то чувством неловкости, и я вдруг ощутил себя лишним. Возможно, что-то из подслушанных разговоров взрослых я знал, что что-то происходит интересное и загадочное, и был готов к каким-то неожиданностям...»

Роман мог начаться вот с чего. Две семьи, Софиевы и Унбегауны, нередко вместе проводили вечера. Потом шли по ночным улицам. Весёлые, молодые, они в шутку менялись парами: Юрий подхватывал под руку Елену Унбегаун, а Борис – Ирину Кнорринг. Но если Борис с Ириной шли просто, взявшись за руки, то Юрий начинал обнимать Елену и даже целовал врасос. Но никто не устраивал сцен ревности – ведь шутка! И всё же вскоре Ирина и Борис стали встречаться только вдвоём. Подробностей этих свиданий нет нигде. И сын Ирины Николаевны ничего не знает: «Я теперь могу судить о развитии этих событий лишь по дневникам матери, но и в них я нахожу больше эмоций, чем фактов. Там и какая-то подлость со стороны Унбегауна, и объяснение с ним отца, который в этой истории выглядел вполне достойно...»

В дневнике Юрия Борисовича я нашла письмо к Борису Унбегауну. Это черновик. Само письмо было вручено Унбегауну, что следует из его ответного послания. Письмо Ю. Софиева дышит едва сдерживаемым гневом и требованием немедленно оставить Ирину в покое. Если бы такое письмо было послано сопернику в XIX веке, то оно бы могло расцениваться как вызов на дуэль.

Именно так понял его Борис Унбегаун: «Юрий Борисович, письмо Ваше совершенно такое, какое я мог ожидать, вплоть до револьверного дула, и проч. Но Вы правы, не надо вносить комического элемента в эти грустные события. Вас, конечно, не могут интересовать мои реакции на Ваше послание, и не для этого

я пишу. Вы, разумеется, достаточно знаете И. Н., чтобы быть уверенным, что во всей этой истории на неё не падает ни малейшей тени, как нет ни в чём и её вины, но если мое подтверждение может иметь для Вас некоторый объективный интерес, я рад дать Вам его...»

Оба боятся выглядеть смешными, разжигая из незначительного романтического увлечения большой пожар, однако в процессе выяснения отношений невинные, но всё же тайные свидания приобретают оттенок преступления. И то чего не было, становится как бы уже свершившимся. Оно могло свершиться, не вмешайся Юрий Борисович!

Из письма следует, что Ирина Николаевна тоже написала Унбегауну записку-отречение. Вероятно, на этом настоял муж. В письме Унбегауна сообщается, что Ирина Николаевна не только писала ему, но и устно объяснялась со своим «тайным другом», для чего они встречались дважды, о чём Унбегаун уведомляет Юрия Борисовича, ничего от него не утаивая, чтобы убедить разъярённого мужа (не забудем: с кавказской кровью!) в своей искренности и готовности разрешить неприятный конфликт.

«Что касается меня, – писал Унбегаун Ю. Софиеву, – то я предпочитаю личный разговор переписке. Позволю себе думать, что и теперь разговор со мной (10 минут) самый простой способ ликвидировать наши отношения...»

Он назначает Юрию Борисовичу встречу – либо у себя дома, либо в школе восточных языков, где Унбегаун преподавал.

Унбегаун так же сдержан и предельно вежлив в письме, как и Юрий Софиев, более того, он не хочет обрывать отношения врагами и пишет постскрипtum: «Рискуя внести комическую нотку, я всё-таки позволю себе, на этот раз уже только как библиотекарь, просить Вас, только как бывшего председателя Союза поэтов, дать школе тот 4-й номер Сборника, о котором я писал И. Н. Так как, по-видимому, не успею прийти до моего отъезда, то Вы сможете его препроводить туда в октябре. Б. У.»

Письмо писалось в августе 1935 года. Унбегаун вскоре уехал из Парижа на юг, и страсти сами собой погасли. А на юге красавец и ловелас Унбегаун пал к ногам Марины Цветаевой, и она вспоминала в письме к одной своей подруге (Ариадне Берг – 2 сентября 1935 г.), как он – «как день хорош», «на десять лет меня моложе», «блестящий молодой учёный-филолог – получил премию... мой большой друг...» – сидел на нижней ступеньке крыльца её дома, а она – наверху, над ним, и глядел на неё с обожанием, и они долго говорили, и эта южная любовь длилась до тех пор, пока не появилась юная дочь Марины Ивановны. Унбегаун тут же оставил зрелую возлюбленную ради молоденькой Али – Ариадны Эфрон, и Марина Ивановна была оскорблена, хотя писала о нём всё той же подруге, что он так и остался для неё на нижней ступеньке крыльца, потому что... «ибо с приездом моей дочери... сразу подменил меня, живую меня – меня – понятием *Votre tatan*. Пишу Вам об этом совершенно просто, ибо я всё ещё – наверху лестницы, и спускаться не собираюсь!» Однако в незавершённой поэме «Певица» она проговорила о своих истинных переживаниях: «Женская обида – певом...»

Ирина Кнорринг не была «наверху лестницы», как великая Марина Цветаева, и потому её мучила не гордыня – её мучило раскаяние.

«Я не знаю, принесло ли это увлечение (Унбегауном) какую-то радость матери, – пишет Игорь Софиев, – но что это взбудоражило её жизнь – конечно, да!

Да и вообще, было ли что-то серьёзное в этой истории? Мать в своих дневниках конкретного об этом ничего не написала. Отец же, рассказывая всю эту историю уже в Алма-Ате, говорил о ней как-то очень туманно и толком ничего мне не сказал. Да так ли это важно?..»

На все вопросы, как всегда, отвечают стихи. Стихи – лучший путеводитель по жизни поэта. Не нужны никакие толкователи и чужие догадки. Всё есть в стихах.

Ирина Кнорринг написала два стихотворения, посвящённых Борису Унбегау, где говорит о своём «воображаемом» романе, который ассоциируется у неё с «тёмным домом», потому что роман совершается втайне, «там, где душа совсем темна». Стихи написаны за год до скандального финала. Финал этот она предвидит и называет «трагической развязкой», так как роман изначально обречён на такой финал, а свою запретную влюблённость расценивает, как «огненный изъяс». И хотя измены не было, но реальная жизнь была подожжена со всех сторон воображаемой любовью, домашний мир сдвинут с привычного, скучного места, преображён. Измены, в известном смысле, не было. И всё равно, невинная эта любовь для Ирины – зло, потому что – «во всём разлад», потому что – «А тот – другой – забыт и предан». Предан! Вот что её мучило. И одно из двух стихотворений названо ею всё же – «Измена».

\* \* \*

Б. У.

Зачем я прихожу в ваш тёмный дом?  
Зачем стою у вашей страшной двери?  
Не для того ль, чтобы опять вдвоём  
Считать непоправимые потери?

Опять смотреть беспомощно в глаза?  
Искать слова? Не находить ответа?  
Чтоб снова было нечего сказать  
О главном, о запутанном, об этом?..

Вы скоро уезжаете на юг.  
Вернётесь для меня чужим и новым.  
Зачем я вас люблю, мой тайный друг,  
Мой слабый друг, зачем пришла я снова?

Простим ли мы друг другу это зло?  
Простим ли то, что ускользнуло мимо?  
Чтобы сказать спокойно: «Всё прошло,  
Так навсегда и так непоправимо»...

## ИЗМЕНА

*Воображаемому собеседнику*

Измены нет. И это слово  
Ни разу не слетело с губ.

И ничего не стало новым  
В привычно-будничном кругу.

Измены нет. Но где-то втайне,  
Там, где душа совсем темна,  
В воображаемом романе  
Она уже совершена.

Она сверкнула жгучей новью,  
Жизнь подождла со всех сторон.  
Воображаемой любовью  
Реальный мир преображён.

И каждый день, и каждый вечер –  
Томленье, боль, огонь в крови,  
Воображаемые встречи  
Несуществующей любви.

А тот – другой – забыт и предан.  
(Воображаемое зло!)  
Встречаться молча за обедом  
Обидно, скучно, тяжело.

Круги темнее под глазами,  
Хмельнее ночь, тревожней день.  
Уже метнулась между нами  
Воображаемая тень...

А дом неубран и заброшен.  
Уюта нет. Во всём разлад.  
В далёкий угол тайно брошен  
Отчаяньем сверкнувший взгляд...

Так, – проводя, как по указке,  
По жизни огненный изъян, –  
Ведёт к трагической развязке  
Воображаемый роман.

1934 г.

\* \* \*

Потом Ирины, с её вечной грустью и укором в глазах, не стало. А женщины – остались. Вереница женщин: молодых, раскованных, влюблённых в Юрия. И, кроме того, этот могучий инстинкт жизни! Он бушевал в крови Юрия – наперекор смерти, которая дышала ещё рядом. Окунуться с головой в горячее, живое, осязаемое, перехлёстывающее через край! Жить, жить, жить!

Правда, любви глубокой, настоящей, какая была у него к Ирине, больше не случилось. Елена Люц хоть и захватила его сердце, но всё равно была – второй.



Была – не самой главной его любовью, к тому же – любовью тайной, ущербной, похищенной у лучшего друга.

«...И всё-таки, с моей стороны, только чувство к Ирине никогда не вызывало у меня мучительных сомнений в своей подлинности, – писал он в дневнике 3 мая 1959 г. – Это была самая настоящая, самая прочная, при всём недостойном моём поведении (взволнованность коротких эротических встреч), выдержавшая все испытания, самая трагическая любовь моей жизни.

Только Ирина и была моей настоящей женой, матерью моего сына, и несмотря ни на что, и вопреки всему, мы всегда оставались друг для друга самыми близкими людьми на свете...»

А вот влюблённостей было тьма – и при жизни Ирины, и после её ухода. Были и «солнечные удары», как в рассказе Бунина «Солнечный удар», который написан во Франции, в Приморских Альпах, в 1925 году. И, похоже, «удары» эти – «взволнованность коротких эротических встреч» – следовали один за другим. Поэта как бы охватила лихорадка страсти – так бывает у вырвавшегося на волю человека. Да и чертил он на полях своих рукописей уже не профиль Ирины, а совсем другие профили. Например, Сонечки Г. (Софьи Голубь), которая посвятила ему стихи. Стихи Сонечка написала по-французски, Юрий перевёл их, и, может, потому они выглядят вполне прилично с литературной точки зрения:

Крепко и тепло сплетаясь руками,  
Мы идём дорогою одной.  
В некий день, суровый и немой,  
Ангел смерти встанет между нами.

Тень от чёрного его крыла  
Чьё-нибудь лицо тогда покроет.  
И на жизнь, что билась и цвела,  
Ляжет мёртвая печать покоя.

Пронеси тогда свою потерю,  
Может быть, чрез долгие года,  
Чтобы верность вечности доверя,  
Мы соединились навсегда...

Довольно зрелые мысли для 16-летней девушки. Они впору 48-летнему мужчине, который прошёл испытания Гражданской войной, побывал у немцев, потерял жену и близких друзей за годы эмиграции и войн. Но – так захотел Юрий Софиев, чтобы стихи эти были посвящены ему, и «как бы» переведены с французского. Они открывают последний раздел «Вечерний свет» неопубликованной его книги, которая называется «Пять сюит». Туда входят следующие сюиты: «Синий дым», «Осенние тополя», «Весенняя свирель», «Шумели сосны», «Вечерний свет». Все сюиты – посвящены женщинам, о которых он говорит в дневнике, вспоминая и других любимых: «Все эти женщины принесли мне в незаслуженный дар прекрасное, настоящее и большое чувство, испытанное временем...»

Все сюиты предварены эпиграфами. «Синий дым» – Марианне Гальской. Марианна – сестра его белградского друга, тоже поэта, Владимира Гальского.

О семье Гальских Ю. Софиев напишет в своих мемуарах «Разрозненные страницы», посвятит Гальским целую главу (там он Марианну называет Марьяной). Брат с сестрой Гальские, как пишет Ю. Софиев, «знали сербский, французский, немецкий и, кажется, английский, как свой русский. Марьяна хвасталась, что она поправляет ошибки у своей подружки-швейцарки, дочери швейцарского посла, в её собственном французском языке. Впоследствии, живя в Париже, я постоянно замечал, как чистокровные парижане коверкают свой природный, прекрасный язык. Это, в конце концов, жанр...»

*(Я вспоминаю, что французы, которые приезжали в Алма-Ату, в беседе с моим мужем, Игорем Юрьевичем Софиевым, всегда поражались его красивому и чистому французскому языку. Говорили, что в самой Франции редко теперь встретишь такой язык – он изрядно уже исковеркан и засорён. – Н. Ч.)*

«И я бережно храню дорогое для меня воспоминание, – пишет Ю. Софиев в мемуарах, – как только втроём вечером в квартире мы сидим рядышком – я посередине, а по бокам меня – Марьяна и Володя – и мы читаем вслух Блоковскую “Розу и крест” – это была наша любимейшая вещь...»

С Марианной Юрий Софиев познакомился, возможно, на заседаниях кружка «Одиннадцать», созданного профессором Белградского университета Е. В. Аничковым, куда ходил и брат Марианны, Владимир. Появлялась она там с подружкой Ириной Добровольской.

«Это были две девушки из семей, принадлежащих к русскому эмигрантскому, так называемому светскому обществу, но по своим настроениям были очень далеки от этого общества, были настроены очень иронически и были подлинными демократками. И потому держались совсем других людей... Как-то Марьяна мне сказала:

– Знаете, Юра, мама призналась, что, если изменится наша жизнь, по-прежнему жить будет совершенно невозможно. Пользоваться услугами горничной будет стыдно, совесть не позволит: каждый человек должен обслуживать себя сам и обязательно должен работать. И я понимаю маму! А вы?

Я улыбнулся и сказал:

– Вы же знаете, я так и живу.

– Ах, да! Вы и учитесь, и работаете, не боитесь никакой чёрной работы и обслуживаете себя самого, потому-то мы вас так уважаем и любим, Юра!

Я был весьма смущён и стал разуверять Марьяну, что я совсем не такой.

– Ну, бросьте, Юра, и мама, и я вас очень хорошо знаем!»

Марианна Гальская станет женой известного в эмиграции театрального художника Владимира Жедринского, он тоже ходил на заседания «Одиннадцати» (в семье Софиевых хранится его работа «Гусляр» и дружеский шарж на Юрия Борисовича).

У раздела «Синий дым» (там шесть стихотворений) два эпиграфа из ранних стихов, которые Ю. Софиев когда-то написал, вспоминая Марианну.

...Я только и помню,  
И можно ли помнить иное –  
Уплывала платформа,  
И в пятне световом фонаря –  
Лицо Твоё,

Печальное, как осень,  
Прекрасное, любимое лицо...

1924 г.

Вот так и жизнь – суровая, простая,  
Лишь озарённая сияньем слов,  
Как синий дым восходит ввысь и тает  
В безмолвии осенних вечеров...

Другой раздел, «Осенние тополя», посвящён Нине Котоман. О ней я ничего не знаю, кроме того, что в дневнике Ю. Софиева среди «главных любвей» Нина названа второй, после Риммы Поярковой, с которой судьба свела его в Нижнем Новгороде. Потом уже идут Ирина, Рая, Елена. Но почему-то вспомнил он в стихах не о Римме, а о Нине Котоман, хотя о Римме записал в дневнике: «Римма Андреевна Пояркова – моя юношеская любовь, может быть, одно из юношеских моих увлечений, хотя одно из самых сильных. Но как неожиданно расцвели для меня изумительная щедрость и богатство чувства у этой женщины спустя 8 лет, после того как судьба развела нас навеки...» Римма писала ему в Париж. Он сохранил её молодую фотографию.

Эпиграфы к сюите «Осенние тополя» такие:

Мой поезд летит, как  
цыганская песня,  
Как те незабвенные дни...

*А. Блок*

Вечерами с тобой у пруда  
Мы встречались сторожко и тайно...

*Юрий Софиев*

Семь стихотворений – Нине.

Третий раздел – «Весенняя свирель», он имеет подзаголовок «Черногорские стихи», а эпиграф такой:

Тамо далеће, тамо у крај мора,  
Тамо је село моје,  
Тамо је љубав моја.

Тамо далеће,  
Где цвећа нема крај,  
Тамо је за мене срећа,  
Тамо је за мене рај.

*Сербская песня*

Героиня черногорских стихов – Новка. Она считала: «Счастьем нет преград!» – и смело пошла в объятия чужестранца-поэта, не боясь хмурого пастуха Люляша, мужа своего, который угрожал ей: «Осторожно, Новка!» Закончилась эта история печально. Новка ушла в партизаны и погибла:

Судьбу твою запечатлел, запомнил:  
 – Двенадцать пуль в бестрепетную грудь!  
 Да, в той заброшенной каменоломне,  
 Где ты мне говорила: «Не забудь!»

Следующая сюита – «Шумели сосны», пронизана воспоминанием о Германии, о некоей девушке, которая обозначена инициалами: «Л. Е.». Об этой сюите я уже говорила: она посвящена украинской пленнице, попавшей к немцам, Лиле Е. Долгое время я думала, что «Л. Е.» – это Елена Люц, пока не нашла в архиве Ю. Софиева открытки от украинских его подруг, в том числе – от Лили Е. Но ошибка моя оправдана. Надо знать поэтов. Поэты своеобразно пишут: начинают с конкретной женщины, а потом уносятся в облака фантазий, сочиняют образ, далёкий от реальности, образ своей мечты. Могло быть и здесь так же. Всё смешалось, всё переплелось: Германия, Лиля Е. на фоне бранденбургских песков и барачков, но и Люц Елена, которая пишет ему письма в неметчину, тут же и подружка Софиева 1939 года, эмигрантка из Германии, Бригитта Дённер – всех он вспомнил и всех забыл ради поэтического идеала.

В сюите четыре стихотворения.

И, наконец, «Вечерний свет» – посвящение Соне Г. Эпиграфы такие:

О, как на склоне наших лет  
 Нежней мы любим и суеверней...

*Тютчев*

... С неотвязными воспоминаниями о тех страстях,  
 которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым  
 мы не посмели уступить...

*О. Уайльд. Портрет Дориана Грея*

Но – они с Соней Г. всё же уступили соблазнам. О том – восемь стихотворений 1946–1947 годов, полных страсти, нежности, стыда и бесстыдства, счастья, от которого перехватывало дыхание.

Итак, не успев пережить «немецкую любовь», вернувшись в послевоенный Париж и продолжив роман с женой своего друга Еленой Люц (а параллельно была ещё Раиса Миллер), поэт Софиев снова влюбляется – в девушку совсем уж юную, зовут её Сонечка, она из русской семьи. Елена Люц в гневе, но страсть Софиева неудержима.

Сонечка раньше Софиева уедет с матерью в Советский Союз и пришлёт оттуда своё фото с надписью: «На память от члена ВЛКСМ моему любимому Юрию от Сонечки. 18 мая 1948 года». Конечно, сочетание – «член ВЛКСМ» и любовная связь с мужчиной, которому под 50, весьма пикантно.

Но в 1946–1947 годах, когда писался «Вечерний свет», Сонечка ещё в Париже. Судя по фотографиям, они с ней стреляют в тире, ходят по парижским кафе. Она любит наряжаться «под казачка» – в заливчатскую папаху. У неё нежное, совсем юное лицо, детские светлые локоны, и вообще – она похожа на гимназистку, но уже познавшую запретную любовь, прелести «порока», как в рассказе Бунина «Лёгкое дыхание». Софиев пишет:

Ты позднею осеннею грозой  
Врываешься в глухую жизнь мою.  
С какою щедростью и простотою  
Ты бросила мне молодость свою...

Он смущён этой «осенней грозой», но тут же находит себе оправдание:

И среди образов любви нетленной  
Навстречу нам и как бы мне в ответ –  
Мне снится не троянская Елена,  
Не Беатриче и не Фиаметт.

Мне улыбается не Мона Лиза –  
Приходят, светлые в блаженном сне,  
Бессмертные любовники ко мне:  
Безумец Абеляр с безумной Элоизой!  
*Париж, 1946 г.*

История Абеяра и Элоизы такова. Абеяр был учителем юной Элоизы, за которой приглядывал суровый и крутой нравом дядя. Но дядя не уследил: Элоиза влюбилась в учителя, и он в неё влюбился грешной любовью. Она родила от него ребёнка. Разгневанный дядюшка жестоко расправился с Абеяром: он оскопил его. Но влюблённые поклялись любить друг друга вечно. Они решили покинуть мирскую жизнь. Элоиза стала монашкой, и Абеяр постригся в монахи. Но он был талантлив. Он писал. Он обессмертил имя любимой в своих книгах.

Видимо, история Абеяра и Элоизы влекла Юрия Софиева именно «безумством» их любви, тем, что Элоиза была много моложе своего учителя, тем, что она не побоялась переступить через все преграды и мнение света – ради любви. Вот и Софиеву нравились женщины, способные на подобные страсти.

В одной из записей дневника Софиева есть следующее:

«В стакане воды на моём столе два жёлтых тюльпана. Я сорвал их на берегу Большой Алмаатинки. Один именно такой, каким должен быть тюльпан, и, может быть, потому – банален. Другой: какая-то выброшенная заострённость лепестков, с невыразимой прелестью – фраппирующей, восхищающей, покоряющей и куда-то несущей – линии. Три удлинённых. Три покороче. Он похож на большую, сияющую в горном чистом воздухе звезду.

И какое волнующее наслаждение созерцать эту красоту. Особенно своеобразную, с уклонением от нормы, и с каким-то особенным сочетанием линий. Вот так и в женщинах...».

Он любил в женщинах «уклонение от нормы». Юные его возлюбленные были, как правило, «дрянные девчонки», даже порочные, но он их любил чисто и возвышенно.

«...Я был чист не только с Ирой, но и с Еленой, и с Раей, благодаря, возможно, присутствию большого количества “душевных примесей”, и в моей жизни кроме “перманентной” влюблённости с “младенческих лет”, была настоящая, большая Любовь...»

А в большой Любви, в предельной человеческой близости нет ничего стыдного. И ещё потому, что в настоящей Любви любящий всё отдаёт любимому человеку,

всё – для его радости, всё – для полноты его счастья, а не для своекорыстного эгоистического наслаждения.

В формуле Любви “Ты – Я” чем настоящее любовь, тем значительнее Ты и малозначительнее Я. Мелькнула мысль – мужская ли это формула? Но если бы в мире царила “вечная женственность”, разве мир не был бы трижды прекрасен?» (Ю. Софиев. *Дневник*, 23/XI, 1962 г.)

Ю. Софиев жаждал «вечной женственности», как и кумир его – Александр Блок. И как Блок, хотел в «мечте обнаружить правду». Он преображал «дрянных девчонок» в стихах своих и в своём воображении, как Сервантес грубую скотницу – в Дульсинею, как аббат Прево куртизанку Манон Леско – в образец жертвенной любви, готовой на всё ради кавалера де Грие.

Он продолжал любить ветреных девчонок даже тогда, когда они обманывали его и потом бросали. Вечной любви не получалось. Но в стихах его все любви – вечные.

Зинаида Шаховская утверждает, что Юрий Софиев потому вернулся в СССР, что кинулся вслед за Сонечкой Голубь в Россию, куда девчонку увезла мать. Но это, конечно, не так. Возвращение его было долгим, осмысленным путём, о чём он много писал и в письмах, и в дневнике, и в стихах. С Сонечкой действительно пытался в Москве встретиться, тосковал по ней, но встреча не состоялась: Сонечка вышла замуж и отказалась общаться с Ю. Софиевым. Но он-то знал, что она навеки с ним. В стихотворении «Быть может...» отодвинул поэт все преграды:

Всё враньё, ты навсегда со мною –  
У моих стихов теперь в плену...

\* \* \*

Почти все его женщины (парижского периода) были близки к литературе, писали стихи. Елена Люц – поэт, член Союза молодых русских поэтов и писателей во Франции, Раиса Миллер – тоже сочиняла, активно участвовала в работе «Советского патриота», сочиняла и Сонечка... Но где бы ещё он их нашёл, своих поклонниц? Конечно же, на вечерах поэзии, в кафе на Монпарнасе, в Ле Боле, в Ротонде, в литературных салонах у кого-нибудь, где собирались русские эмигранты. Русская колония жила обособленно, и литература была самым доступным способом самовыражения и сохранения русского языка. А русский язык был для них в то время – главным богатством и смыслом жизни, ниточкой, соединяющей их с Родиной.

Пописывал даже брат Юрия, Лев Бек-Софиев. Правда, он вообще любил прекрасное. Например, на балконе его дома, увитого жёлтыми розами, стояла статуэтка Афродиты – с накинутой на бедра тканью, а комнаты были украшены живыми цветами, в рамках – коллекция великолепных бабочек, и книги поэтов на полках. В письмах к брату он цитирует Блока, Данте, Лермонтова.

С Сонечкой Голубь Юрий Борисович появлялся на разных культурных вечерах и, как вспоминает в дневнике, однажды козырял перед поэтом Довидом Кнутом (Давид Фиксман) своей молоденькой подружкой. Довид думал поразить его своей спутницей, тоже весьма юной, но девушка Юрия Софиева оказалась ещё юнее, и Довид вынужден был признать первенство в этом деле своего приятеля

и, как потом оказалось, родственника: до войны Довид был женат на Ариадне Скрябиной, и младший брат Ю. Софиева, Максимилиан, состоял в гражданском браке с сестрой Ариадны, Еленой Скрябиной. Ариадну – участницу французского Сопrotивления – расстреляли фашисты, а Максимилиан погиб в одном из магаданских лагерей.

\* \* \*

Похоже, Елена Люц и Раиса Миллер двоились в творческом воображении поэта, ведь вот он и в дневнике 1962 года ставит их рядом – после Ирины Кнорринг, конечно: «Я был чист не только с Ирой, но и с Еленой, и с Раей...» И стихи посвящались как бы им обеим – Елене и Раисе – тем более что он бывал с каждой в одних и тех же местах, которые раньше посещал с Ириной. Сколько фотоснимков они всегда привозили из этих вояжей!

Ирина когда-то написала «Поэму дороги», с посвящением Юрию:

За каждым крутым поворотом,  
 За каждым холмом вдалеке,  
 Манящее, новое что-то,  
 Так чуждое зимней тоске.  
 .....  
 Снимались у тёмных развалин,  
 Снимались в густых камышах.  
 И не было больше печали,  
 По-детски светилась душа...

Это детское свечение души, это чистое, наивное в Ирине было близко Юрию, который до старости сохранил в себе отблески детства, и у него – «По-детски светилась душа...». Елена с Раисой были очень взрослые всегда, а он – «Вечный юноша», как сам себя называл.

Его путешествия по любимым местам Ирины похожи на бесконечное паломничество туда, где он был когда-то счастлив, был мальчишкой: «А помнишь, вот здесь, за Маньи, – писала Ирина в «Поэме дороги», – Презрев всех жандармов на свете, / Мы даже костёр развели... / И снова шины шуршали, / Был в сердце задорный угар...»

Ирина тогда даже всегда печальную Мадонну видела весёлой:

...И над входом в убогий отель  
 В тёмной нише смеётся Мадонна.

И писала, задыхаясь от счастья, эти прерывистые, летящие строки:

Веди меня по бездорожью,  
 Куда-нибудь, куда-нибудь,  
 И пусть восторгом невозможным  
 Тревожно захлебнётся грудь.

Сломай положенные сроки,  
 Сломай размеренные дни!

Запутай мысли, рифмы, строки,  
 Перемешай!  
 Переверни!

Так, чтоб в душе, где было пусто,  
 Хотя бы раз, назло всему,  
 Рванулись бешеные чувства,  
 Не подчинённые уму.

*После всего. 1928 г.*

Здесь, где слагалась их с Ириной поэма дороги, «где был в сердце задорный угар», где «рванулись бешеные чувства, не подчинённые уму», где в те незакатные дни в тёмной нише храмов смеялась Мадонна, Природа, казалось, хранила тени прошлого – энергию ушедшего времени. Юрий как бы подпитывался этой энергией, и возвращался всегда обновлённым, полным стихотворных строк.

Таких мест было несколько. Например, Ла Рошель. Он пишет в письме к В. Мамченко:

«С Ла Рошеля всё началось с Раей. В маленьком отеле у вокзала. По Ла Рошель бродили с Леной. *(Лену он потом вычеркнет из письма: вспомнит, что пишет её мужу. – Н. Ч.)* Чудесные дыни... И “исторические эмоции” на каждом шагу.

С Раей вспоминали в Ла Рошеле Ладинского. В своей статье он всё расписывал цветные паруса, но на этот раз мы никак не могли их обнаружить, и Рая убеждала, что Ладинский всё выдумал.

Нет, это, естественно, *couleur locale* Ла Рошель.

И к ней летят цветные крылья  
 Рыбачьих вольных парусов!

Вероятно, в жизни я не столько слушал, сколько смотрел. Мне, видимо, свойственно “видение” мира, и потому его виденья всегда чаровали и меня. Возможно, я родился художником – и художником-пейзажистом, всю жизнь меня пленяли краски... Звучание пришло гораздо позднее... Мир я вбирал не только “слухом и умом”, сколько глазами и сердцем... Всякое подлинное видение жизни – идейно, потому что оно наполнено созерцанием, вызывает не только наслаждение прекрасным, но и будит мысль, вызывает раздумья, будит мечту. Но мою собственную мечту, самое дорогое, затаённое, зовущее и волнующее...»

Рассудительная, земная Рая решила, что Ладинский придумал «цветные паруса», а поэт и художник Юрий Софиев немедленно поверил в них, тут же увидел эту яркую картину моря, и парусных лодок, и запредельной воли, и стихи написал, которые у него никогда – только пейзаж или только чувство, но всегда почти – ещё и «исторические эмоции», ещё и «идейны». Таким получилось и стихотворение «Ла Рошель».

\* \* \*

«Порт Ла Рошель» – с ветрами спорит  
 Веков чугунная плита.  
 Две белых башни, что на взморье  
 Стоят на страже у порта.



Здесь каждый дом и каждый камень  
И кровь, и беды затаил.  
Здесь мера – гугенота пламень  
В дубовый стол кинжал вонзил.

«Мы будем биться! Биться насмерть!»  
Рукой коснулся я стола.  
В дни исторических ненастий  
Безумцев храбрость не спасла.

Развязный гид толпе туристов  
Безбожно врёт об именах  
Нотабилей или магистров,  
Чей здесь хранится бранный прах...

И мы с тобой бродили тоже  
По этим улицам ночным.  
И ветры времени изложут  
И наши тени, наши сны.

А там, за каменной стеною,  
Шумит прибором океан,  
Чудесной манит синевою,  
Виденьями далёких стран.

Стоит, оваянная былью,  
Легендами глухих веков.  
И к ней летят цветные крылья  
Рыбачьих вольных парусов.

У этого стихотворения нет посвящения, но оно, как мы уже поняли из «письма к Мамченко», зафиксированного в дневнике Ю. Софиева, посвящено двум женщинам: Раисе Миллер и Елене Люц. Но две этих женщины – только отправная точка, только фитилёк, возжёгший поэтическое вдохновение, а на самом деле стихи о себе, о судьбе своей. Ведь он и о своём поколении мог бы сказать: «В дни исторических ненастий / Безумцев храбрость не спасла...» О тех, кто пережил революцию, кто вышел против новой власти, кто достойно вытерпел поражение и стойко боролся за своё возвращение на родину. Да, они были безумцы, да, храбрость не спасла их от страшных разочарований и потерь, но всё равно – они видели «цветные крылья» воли и надежды.

\* \* \*

Вот ещё одно стихотворение: «Сияет ночь. Благоухают липы...», которое могло быть посвящено и Елене, и Раисе, поскольку обе предлагали ему «разговоры по звёздам». В одном из писем Елена Люц просит Юрия назначить определённое время ночи, когда они одновременно будут смотреть на их заветную звезду и разговаривать друг с другом. Она верила, что это возможно.

Но первоначально на звёзды он смотрел с Ириной Кнорринг, и она написала об этом:

Помнишь, как смотрели мы с тобою  
 На ночное дерево небес?  
 Помнишь, как шумел над головою  
 И весенний, и осенний лес?..

Он не забыл их «Дерево небес». И только с душой Ирины говорил через звёзды. Но об этом никто не знал. Это было его тайной. И теперь, я думаю, он был «на мосту», под звёздами – с душой Ирины, «вопреки случайности, и тленью, / И неизбежной горечи разлук...» И ночь сияла!

Этот эпиграф из А. Фета – «Сияла ночь» – предварял предсмертное, 1942 года, стихотворение Ирины Кнорринг:

Сияла ночь...

*А. Фет*

В открытом окне трепетали холодные звёзды.  
 Скользили, клубясь, над зигзагами крыш облака.  
 Был гулом моторов насыщен томительный воздух,  
 И мягкие взрывы, как гром.  
 И сжималась рука.

Сверкающий луч опоясывал небо сияньем,  
 Назойливо шарил и снова соскальзывал прочь,  
 И, камень за камнем, огромные серые зданья  
 Беспомощно рушились в истинно-звёздную ночь.

В глубоких подвалах не спали усталые люди,  
 Над городом тёмным сияла бесстрастная твердь.  
 И в звёздное небо громоздкие дула орудий  
 Со злобой плевали тяжёлую, страшную смерть.

Об этом стихотворении Юрий наверняка вспомнил, сочиняя свои строки, которые предварил тоже А. Фетом:

Сияла ночь...

*А. Фет*

Сияет ночь.  
 Благоухают липы,  
 Всем нашим горестям  
 Наперекор.  
 Сухой июль  
 Над головой рассыпал  
 Пригоршни звёзд в причудливый узор.

Вот это – Лебедь,  
Яркий блеск Диеба  
Раскинутые крылья золотит.  
И, посмотри, по южной части неба  
За ним Орёл на север наш  
летит...  
А поезда ночные отшумели,  
И только красные и синие огни.  
Поблескивают тускло параллели  
Стальных путей.  
Мы на мосту –  
Одни.  
...Ночных колёс ритмическое пенье.  
Свет ночника.  
Открытое окно.  
И это необычное волненье –  
От юных дней  
Знакомо мне оно!  
Я никогда, должно быть, не устану  
Смотреть на звёзды,  
Слушать ветр ночной.  
И никогда любить не перестану  
Земную жизнь взволнованной душой.  
И вопреки случайности, и тленью,  
И неизбывной горечи разлук –  
Не предавай  
Весеннее цветенье  
И крепкое пожатье братских рук!  
*Эрмон – Париж*

Эрмон – местечко под Парижем, где жила Рая Миллер. «Мост», о котором он пишет, тот самый, что и Раиса упоминает в своих стихках и письмах. Но концовка стихотворения довольно неожиданная – плакатная, совершенно чужая. Поэту, скорей всего, скучно стало писать это стихотворение, которое он, вероятно, хотел подарить Миллер. Поэт увлёкся пейзажной зарисовкой, своим ночным состоянием перед звёздным небом, близостью Ирины. Он слышал её голос – трагический: он говорил о небе войны, в которое орудия плевали тяжёлую, страшную смерть. Когда Ирина читала стихи, маленький их сын, Игорь, всегда плакал, и у Юрия спазмы любви сжимали горло – особенно, когда она стихи посвящала ему:

В этом мире огромных свершений,  
В мире неповторимых созвучий  
Кто нам тихого Бога заменит?  
Кто нас детскому счастью научит?

Но нет Ирины... Дерево небес погасло... Печаль, печаль... Но он ведь не один. Рядом влюблённая в него женщина, Рая Миллер. И он бодрится, он не хочет по-

казать ей своей печали, того, что не с Раей был он сейчас в мыслях своих. Однако надо скорее прятать концы в воды, надо стихотворение как-то кончать, и он завершает его «крепким пожатием братских рук», к разочарованию подруги из Эрмона. Возможно, когда-нибудь он бы, может, вернулся к этим стихам, нашёл органичную точку, открыл свою тайну – правду сказал о той ночи под звёздами. Но – не случилось. Строки остались беглой записью в дневнике и свидетельством того, что были в его жизни и звёзды, и Раиса с Еленой. И многие другие. Был единственная – Ирина.

А ещё – было «это необычное волнение – от юных дней...», которое поэту хорошо знакомо и которое вызывало всегда вдохновение. Им-то он и дорожит больше всего. А в дневник Юрия Софиева «необычное волнение – от юных дней», несмотря на печаль и «неизбывную горечь разлук», снова проникло ещё и потому, что был он в то время увлечён некой Таей Гуриной, которая жила в Алма-Ате в 1957–1958 годах, ведь стихотворение записано в дневник именно тогда и вошло в контекст новой любви, хотя помечено: «Эрмон – Париж».

\* \* \*

Тая была, кажется, приезжей. Жила, возможно, у соседей по бараку или временно у Юрия Борисовича – у него иногда квартировали родственники знакомых из других городов. Может, училась Тая Гурина в Алма-Ате в каком-нибудь техникуме. В дневнике он пишет, что она забросила учёбу, не хочет делать уроки по математике и геометрии. И он готов сам топить печь и готовить ужин, лишь бы она занималась. Но Тая снова убежала куда-то, у неё одни кавалеры на уме, и она крутит романы с парнями, занята танцами и прогулками, а он ждёт её один по вечерам, как старый муж. Он вразумляет её в записках, что надо читать умные книги, совершенствовать себя, а не вязнуть в мещанском болоте мелких страстишек. Есть великая, чистая любовь, к которой он её призывает, есть богатая жизнь духа, но с горечью отмечает, что Таю прельщают только телесные радости и бездумное, весёлое существование.

В архиве Ю. Софиева есть фото Таи Гуриной. Она сидит на поваленном стволе дерева, где-то в заброшенном саду или на лесной поляне, томно склонив голову. Полные ноги в белых носочках, юбка-клёш тесно обтягивает могучие бёдра. Весьма развитая физически, крепкая девушка. Курносая. Вероятно, озорная, хохотушка. И что уж несомненно – она знает, что нравится.

Наконец, Тая собирается к родителям, в Башкирию. И как заботливый отец, Юрий последние деньги тратит на провизию для неё, чтобы она в дороге не голодала, даёт ей денег и так. Деньги он занял. Сначала пытался взять у своей воздыхательницы, сотрудницы института, Г. В., но та не дала – из ревности. Тогда он одолжил у тестя, Николая Николаевича Кнорринга.

Тая Гурина уехала – и забыла о нём. Он жалуется в дневнике, что она не пишет, где она, что? Потом ему вдруг приходит от неё письмо откуда-то с Сахалина, и он теряется в ужасных догадках: уж не убила ли она кого-нибудь и не бежала ли теперь на край света? Его мучают жгучая любовь к ней и тоска без неё. Он мечется. Он дожился до галлюцинаций: видит Таю в каждой встречной женщине, бежит за похожей фигурой, кидается к двери на любой стук: вдруг – она? В отчаянии он пишет ей стихи, где есть строки о том, что его сердечные мучения и горькое одиночество – «возмездие за Демона полёт...». Значит, всё же Демон?

Да нет, какой Демон! И не он губит юную душу – она его губит, она – терзает и жжёт огнём.

Он готов ей всё простить. Да он и простил – сразу же, как только получил от неё письмо. Так аббат Прево (вместе с кавалером Де Грие) всякий раз прощал несравненную и неверную Манон.

Аббата Прево Ю. Софиев цитирует в дневнике. А также переписывает стихи Ярослава Смелякова «Манон Леско». Смеляков, отсидевший в сталинских лагерях, написал эти стихи в ответ на призывы апологетов соцреализма воспеть индустриальные прелести, а не «шепот, робкое дыханье, трели соловья». Смеляковские строки созвучны сейчас смятенному сердцу Софиева, и он их повторяет:

Много лет и много дней назад  
Жил в зелёной Франции аббат.

Он великим сердцеведом был.  
Слушая, как пели соловьи,  
Он, смеясь и плача, сочинил  
Золотую книгу о любви.

.....

Женская смеётся голова,  
Принимая счастье и пыл...  
Эти сумасшедшие слова  
Я тебе когда-то говорил...

Вот и Тая – ничего не хотела знать, кроме «сумасшедших слов» любви: ни того, что Софиев славит нового человека, новую жизнь, которую он узнал на Родине после чужбины, ни того, что он озабочен вопросами жизни и смерти, ни того, что надо печку топить и готовить ужин. Легкокрылая и смеющаяся, вечно юная и прекрасная, неслась она над заботами брэнного мира, как сама Любовь.

«Неужели, в самом деле, смерть уже стоит где-то за дверями, а я и стариком-то себя совсем не чувствую. Ни усталости, ни равнодушия к жизни, а всё та же нестерпимая жажда. Делаю всё, чтобы как-то отвлечься от мыслей о Таяе. Но ежеминутно она пронзает всё моё существо нестерпимой болью и тоской...»

Он цитирует по-немецки одного поэта. Стихи о любви. О том, что даже у самой счастливой любви есть *totlich enden* – «смертельный конец».

«Только этот *totlich enden* произошёл у меня не в самые тихие и счастливые часы моей любви к ней и её любви ко мне, а они были, и их я никогда не забуду. Как раз в эти мартовские дни прошлого года...» (дневник, март, 1959 г.).

И чтобы всё же отвлечься от печали «смертельного конца» любви с Таяей Гуринной, он вспоминает свои первые, юношеские чувства, похожие на весенний хрупкий цвет. Он переносится мыслями в далёкий май 1919 года. Весну и лето он всегда любил, а зиму – только терпел. Тогда, в том далёком мае, цвела белая акация, наполняя воздух сладковатым, пряным, медовым ароматом. Вспомнил песню, которую любили в эмиграции: «Белой акации гроздь душистые». Он даже запел её:

Белой акации гроздь душистые  
 Вновь ароматом полны.  
 Снова разносится песнь соловьиная  
 В тихом сиянье, сиянье луны...

Как начинается цветение акации, в стакане у него всегда стоит несколько веточек. Он обожает белую акацию. Она раскидывает свою буйную крону у него под окнами – сам посадил её, как только поселился тут. Аромат цветущей акации смутно волнует поэта, воскрешает в памяти целую эпоху жизни, ведь в молодости каждый отрезок бытия кажется «целой эпохой». Ю. Софиев запишет в дневнике 1959 года небольшой рассказ, который можно было бы назвать «Белая акация».

### БЕЛАЯ АКАЦИЯ

«...И всё-таки она цветёт не так буйно, не так потрясающе, как цвела в первый раз в моей жизни, на Кубани, в Екатеринодаре (Краснодар), 40 лет тому назад.

И в этом запахе, душном и резком, звенит моя юность, трудная, суровая и в общем искалеченная, но всё же чистая и вдохновенная. И возникает образ девушки. Очень светлый образ и очень далёкий. И возникает – не чётким даже образом, а смутным музыкальным видением-звучанием. Если бы я её встретил сейчас, я бы мог пройти мимо, не узнав когда-то любимые черты.

И рядом – образ друга, тоже очень далёкий, друга ранней юности, друга сурового, совсем на меня не похожего. И все эти видения – обрываются, рушится с ними всякая связь. Потому что между ними и мной – живым, реальным – целая жизнь и безбрежный океан совсем другого мира, поглотившего мою жизнь. И теперь, когда я из него вырвался и как бы вернулся к истокам – невозможно установить реальную, осязаемую связь, преемственность между самим собой, мной, тем 19-летним юношей, и мной теперешним. И запах белой акации не является связующим звеном. Он возвращает меня тем дням, по-прежнему в отрыве от реальной, осязаемой жизни.

Ольга – Борис – я. Только, пожалуй, точнее было бы: Ольга – я – Борис. Судьба меня поставила между...

\* \* \*

Борис Бурьянов был моим школьным товарищем. Три учебных года мы сидели с ним на одной парте в Нижегородском кадетском корпусе. Это был сильный, крупный юноша со светлыми густыми волосами и очень широким волчьим лбом. Борис вообще походил на волка. Он был резок и серьёзен до угрюмости, не отличался ни изящными манерами, ни светским воспитанием. Много читал. И, видимо, много думал. В свободные часы, на прогулках или в роте любил шагать с чуть опущенной головой, весь поглощённый своими мыслями. У него не было других товарищей, кроме меня. На это имелись особые причины.

Кадетские корпуса были закрытыми учебными заведениями и пополнялись детьми по преимуществу военнослужащих. Этой среде были присущи сословные предрассудки. В основной массе это были не бог весть какие аристократы, чаще всего по своей сословной принадлежности – средние, мелкие, а то и личные дворяне, но, во всяком случае, только в волжских корпусах допускался незначительный

процент детей из купеческих сословий (процента два, кажется). Их принимали в качестве “своекоштных”, т. е. по тому времени за весьма немалую плату – 490 рублей в год. Презрительная кличка “купец” обычно прилипала к этим парням.

Борис был сыном купца-лабазника. Отец его занимался мукомольным делом. Семья жила в одной из зенитных крепостей, и старший Бурьянов был поставщиком гарнизона. Жили они, видимо, в большом достатке, и дом был открытым и гостеприимным. Знакомство велось с офицерскими семьями гарнизона. Дочери учились в гимназии, а обоих сыновей, Бориса и Глеба, видно, под влиянием матери, решено было поместить в кадетский корпус. В этом был, несомненно, некоторый снобизм, т. к. военная карьера самого Бориса не увлекала, и он с отроческих лет собирался стать инженером, и уже в старших классах решил по окончании кадетского корпуса не идти в военное училище, а выйти на сторону и поступить в Политехнический институт.

В корпусе Бориса гнусно травили кличкой “купец”. Борис отвечал сдержанным молчанием, полным достоинства. Трогать его боялись, потому что он был сильным юношей. Но спорта не любил, и на гимнастике не отличался. Держался в стороне от товарищей, не принимая участия в проказах и играх... Меня глубоко возмущало отношение товарищей к Борису. Он был на голову выше их: и по уму, и по способностям, и по внутреннему содержанию, и по своим моральным качествам, а безмозглые идиоты, кичась своим не бог весть каким дворянством, тыкали ему “низким” происхождением.

С Борисом мы быстро сдружились. Я учился неплохо – был в первом пятке. Но был достаточно ленив и беспечен. Тоже, по-своему, как и Борис, вечно наполнен, пожалуй, в противоположность Борису, не столько думами, сколько мечтами и необузданным воображением.

Борис мне покровительствовал и пытался меня перевоспитывать и, главное, приучить к порядку. Борис был аккуратен и педантичен. Я же педантов ненавижу. Борис любил математику и был равнодушен к поэзии. Я обожал поэзию и был совершенно равнодушен к математике. Но страстью моей были естественные науки и география, ибо я бредил путешествиями. Но нас сближало то, что мы принадлежали по своим воззрениям к “либерально-прогрессивным” кадетам. Борис был, несомненно, радикальнее меня, зрелее и развитее. Он впервые посоветовал прочесть и дал мне книги по социализму (Бебеля). Но почва была ещё совсем не подготовлена. Зерно в то время упало на камень, т. к. я ещё всецело находился под влиянием семьи и религиозного воспитания бабушки и матери.

Весь мой “прогрессизм” был направлен против сословных предрассудков, против узости и безобразий военной среды, против грубого обращения с солдатами, и весь мой пафос и весь мой пыл был устремлён к человечности, к гуманизму. А ненависть – к жестокости, лжи, фальши.

Было ещё одно существенное различие в наших характерах – девушки очень занимали моё воображение. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что с 7 лет я был “перманентно” влюблён. Причём это была идеальная и чистая влюблённость, как-то совсем не связанная с вождением. И, увы, но это весьма присуще моей среде, вождение у нас вызывали женщины “низшего” сословия – горничные, девчонки-няньки и т. д. Впрочем, никаких “жертв” на моей совести не было. Для Бориса, как мне казалось и судя по его поведению, женщины совершенно не существовали. Он не любил никаких наших кадетских балов, не танцевал, не

заводил никаких знакомств и решительно ни за кем не ухаживал. Отзывался о женщинах пренебрежительно:

– Глупые индюшки!

В отпуск не ходил. Театры, как мне помнится, тоже не любил. Каждое воскресенье мы, кадеты старшей роты, ходили в театр, в оперу, иногда в цирк и на концерты.

Во время войны, а наша дружба и протекала именно в этот период, мать моя жила в Нижнем Новгороде. Но так и не удалось уговорить Бориса приходить к нам в отпуск. Он грубовато отвечал:

– Что мне там делать? Только терять время!

Борис был необычайно сдержан, до скрытности, и о своих семейных отношениях никогда не говорил. Возможно даже, что у него была не мать, а мачеха, и, мне кажется, матери или мачехи он не любил.

Семья Бориса в начале войны, уходя от фронта, из западного края переехала в Екатеринодар, на Кубань. И вот, опускаю здесь все события до 5 мая 1919 года, т. к. именно в этот день, 5 мая 1919 года, из Ростова, где я пролежал два месяца с пятью приступами возвратного тифа и, не выходя из госпиталя, перенёс и свиной тиф, подобный бледной тени, я появился в Екатеринодаре, приехав на поправку к моему отцу. Отец жил на квартире в доме на окраине города, почти у самой Кубани. Дом стоял посередине сада, отгороженного от улицы высоким забором. Могучие старые черешни, другие плодовые деревья и густые заросли сирени почти скрывали его от глаз.

Всё меня радовало, и я, истощённый страшной болезнью, возвращался к молодой жизни: и наливающиеся соком, мясистые, неведомые мне на севере лекарственные черешни, и нежная, буйная сирень, и заливающая город сладостным ароматом цветущая белая акация – всё для меня было ново. Волнующее очарование юга щедро наполняло всё моё существо.

И вот, «в один прекрасный вечер», на пороге нашего дома появился Борис. Он узнал о моём приезде от общих знакомых. Ну, естественно, мы бросились друг к другу в объятия. Я потащил Бориса в дом.

– Нет, сегодня не могу. Я только что узнал о твоём приезде. Пришёл тебя увидеть и поговорить на завтра.

Я с радостью смотрел на друга. Борис возмужал, но остался таким же – плотно сложенным, чуть угловатым, со своим упрямо наклонённым, волчьим лбом.

– Что же ты делаешь?

– Учусь, в Политехническом институте. На третьем курсе. – И как-то скосив глаза в сторону, смутился: – Ты меня прости, я к тебе на минуту. Я не один...

– Так тащи сюда того, с кем ты!

– Нет. Не надо. Я с женщиной.

Борис с женщиной! Я даже растерялся немного – настолько это было для меня необычным: Борис – и с женщиной...

Я пришёл к Борису и познакомился с его семьёй. Мать – интересная, хорошо сохранившаяся женщина. Отец – с русской купеческой бородой, не особенно улыбочивый, видимо, всецело поглощённый своей деятельностью, деловой человек. И две очень красивые сестры. Надя – старшая. Такая же крепкая, как Борис, бойкая, уверенная в себе, насмешливо-ироничная. Катя – младшая, девушка-подросток



лет шестнадцати, более «деликатного» сложения, гибкая, стройная, с очень выразительными, живыми глазами. Она мне сразу понравилась. Обе развитые, и обе неглупые.

Самым застенчивым в этом обществе оказался я. И Надя не без удовольствия и лукавства взяла меня под обстрел, видимо, наслаждаясь моим внутренним замешательством. Мучительно застенчивый с детства, я за эти годы войны совершенно отвык от общества, да и никогда не любил его шумного веселья.

Надя сейчас же прилепила ко мне ярлыки “задумчивого мечтателя” и “поэта”.

– Вам не хватает “кудрей до плеч”! – издевательски сказала она мне.

И это была правда, так как после тифа голова моя была коротко острижена. У меня, несомненно, был весьма глупый вид, и я, видимо, производил впечатление “юноши не от мира сего”.

После вечернего чая Борис буркнул:

– Брось этих индюшек! – и вызвался меня проводить.

Когда мы вышли на улицу, Борис сказал не без таинственности:

– Зайдём в одно место, – и повёл меня по незнакомым улицам, молча, не вдаваясь в объяснения.

Мы вошли в палисадник и поднялись по ступенькам крыльца к двери. Борис позвонил. Было поздно. В доме потушен свет. Через некоторое время зажглось одно окно, и по ступеням лестницы застучали каблуки. Борис сказал:

– Подожди минуту.

Я отошёл к калитке. Борис вёл вполголоса переговоры через закрытую дверь. Мне стало ясно, что мы пришли поздно, и потому явно неудачно.

Борис стал спускаться со ступенек, но, видимо, из-за двери ему что-то сказали, и он окликнул меня. Я подошёл. Сквозь узкую щель чуть приоткрытой двери протянулась худая и длинная обнажённая женская рука, с тонкими и длинными “музыкальными” пальцами. По-видимому, за дверью стояла женщина, вставшая с постели. Она накинула халат и сошла вниз. Женщина сказала одно слово: “Юра”. Но это было сказано так, как будто мы были знакомы с детства. Я взял её руку и поцеловал её. Дверь закрылась.

С тех пор прошло 40 лет, и, однако, я вижу эту, почти немую, сцену во всех её мельчайших подробностях. И мне кажется, что я слышу всю сложную гамму тёплого, грудного голоса женщины, сказавшей: “Юра”...

Борис мне так ничего толком и не объяснил. Он был скуп на слова, а я считал, что приставать к неразговорчивому человеку с расспросами – просто неприлично.

Борис только сказал:

– Ольга живёт в доме у тётки. Старуха рано ложится спать. Мы немного опоздали. Пойдём в среду. Приходи ко мне к восьми часам, к чаю.

За чайным столом я застал старших Бурьяновых и Катю. Через открытые двери, в глубине соседней комнаты, я увидел письменный стол, освещённый настольной лампой. За столом сидели две барышни: Надя и незнакомка, а за их стульями стоял Борис. У незнакомки светлые, коротко остриженные, лёгкие вьющиеся волосы.

Очень тонкое и очень красивое лицо. Сидящая, она мне показалась высокой и тонкой, эта незнакомка.

Борис, увидев меня, вышел из комнаты, поздоровался и кивнул в сторону барышень:

– Видишь, мучаюсь с этими глупыми индюшками. Изволь-ка подготовить их к аттестату зрелости, – сказал он иронически, но добродушно.

Я знал, что Надя в этом году кончала гимназию. Видимо, подруга была её одноклассницей.

– Господин профессор! – позвала Надя.

– Ну, что там? – грубовато-насмешливо отозвался Борис и пошёл к девушкам.

Я занялся чаепитием и разговорами со старшими Бурьяновыми. Я не сказал бы, что Бурьянова-мать очаровала меня. Я сразу заметил холодок, существовавший между ней и мужем. Бурьянов-отец вскоре встал из-за стола, извинился и ушёл к себе в кабинет, сдержанный, озабоченный, деловой человек.

Времена были нелёгкие и тревожные. Шла Гражданская война. Никто не был уверен в завтрашнем дне.

Наконец, подруги кончили заниматься и вышли в столовую.

– Знакомьтесь, – сказала Надя. – Оля Ивановская.

Передо мной стояла действительно высокая и тонкая девушка. Черты лица у неё были отточены. Большие прекрасные серые глаза смотрели внимательно и очень дружелюбно. В них не было ни тени смущения. Я обратил внимание на тонкие подвижные ноздри правильного, чуть заострённого носа. Рот мне показался немного большим, но губы очерчены были очень красиво.

Я про себя подумал: «Трепетная лань!» И ещё: «Ольга Ивановская явно из другой среды, нежели Бурьяновы – это видно по очень естественной свободе движений, манере держаться, манере говорить...» Во всём сказывалось хорошее воспитание.

Ольга отказалась от чая, что-то сказала Борису, как-то таинственно и чудесно улыбнулась мне и заспешила домой. Надя было завела со мной какой-то умный литературный разговор, но Борис буркнул мне:

– Юра, пошли!

Борис повёл меня к уже знакомой двери. Позвонил. Опять послышался стук каблучков, спешащих по лестнице. Дверь распахнулась. На пороге стояла Ольга.

– Так вот кто тут звонит! – Ольга улыбалась.

Мы прошли прихожую, столовую с большим круглым столом посередине и вошли в небольшую светлую комнату с двумя окнами, выходившими в сад. Две кровати. Небольшой письменный стол. Этажерка с нотами, этажерка с книгами. Пианино. Окна были открыты. Ночной сад был таинственно-тёмным, по-южному тёплым. Цвела акация.

– Извините меня, – сказала Оля, – прошлый раз я Вас не смогла принять, тётя уже легла спать.

– Просить прощения надо нам с Борисом за наше ночное вторжение.

– Подумаешь, какие фигли-мигли! – насмешливо сказал Борис. – Одиннадцать часов – детское время.

– Он ужасный бурбон, – сказала Оля. – Да Вы же его знаете!

Они шуточно пикировались, но в суровой грубоватости Бориса светилась теплота и нежность. Таким вот я его видел в первый раз.

Кто-то прошёл через столовую, и в комнату вошла очень крупная молодая женщина. Она была красива и так пропорционально сложена, что её чересчур крупный рост не бросался в глаза. Комната сразу наполнилась весёлым, живым смехом, теснотой, оживлением.

– Боже мой, в комнате женщина с двумя мужчинами, а в доме мёртвая тишина! Здравствуйтесь, мрачный бирюк! – сказала она добродушно Борису.

– Здравствуйтесь! – и, тряхнув мою руку сильным и энергичным движением назвала себя: – Женя! Я Вам не буду мешать. Я только на минутку. Я очень спешу. – Она открыла ящик стола. Порылась в нём, что-то взяла и так же неожиданно исчезла, как и появилась. Ольга ушла с подругой. Женя была молодой актрисой и жила в одной комнате с Ольгой. Вторая кровать была её.

– Дева-борец! – сказал Борис.

– Ты ничего не понимаешь в женской красоте, – парировала вернувшаяся в комнату Ольга. – Неужели Вы не находите, Юра, – продолжала она, – что Женя очень красивая женщина?

– Ну, не хотел бы я иметь такую жену! – не унимался Борис.

– Дурень, – ласково сказала Ольга.

– Кто же из Вас занимается музыкой? – спросил я.

– Музыкой занимаюсь я, – ответила Ольга.

– Она не только пианистка, но и недурно поёт, – похвалился Борис.

Мне стало неловко за это «она».

– Не обращайтесь на него внимания, – примирительно сказала Ольга. – Кроме того, он ничего не понимает в музыке. Его стихия – математика и техника. А Вы – Вы любите музыку? Хотите послушать?

Ольга чуть тряхнула кудрями и села за пианино.

– Я Вам сыграю Грига, а потом, что захотите.

Её тонкие длинные пальцы забегали по клавишам. Играла Ольга хорошо. Я попросил её сыграть «Баркаролу».

Боже мой! Ольга не барабанила по клавишам! Это был настоящий музыкант. Сладостная взволнованность и терпкая грусть пронизали меня всего. И я впервые позавидовал Борису.

Он слушал спокойно, мне даже показалось, безразлично, однако – он был горд за Ольгу.

Мы шли по ночным улицам города. Горели одинокие фонари. Прохожих почти не было. Вероятно, в центре, на главной улице, шло ещё шумное гуляние. Густая толпа молодёжи по вечерам слонялась по тротуарам туда и обратно. Бесконечное множество военных.

Мы шли по пустынным, тихим улочкам мимо провинциальных домиков с большими садами. Окна домов были закрыты ставнями, кое-где сквозь их щели черноту южной ночи прорезывали узкие полосы света. Кое-где ещё звучала одинокая роля.

Долгое время мы шли молча. Я был глубоко взволнован – всем: Ольгой, южной майской ночью, цветущей акацией, смутными и блестящими обещаниями жизни.

– Ты обо всём догадывался? – спросил Борис.

– Догадывался, – ответил я.

– Вот, брат, только не знаю, что вообще будет... Эх, кончить бы Политехнический институт, стать инженером, начать работать. Она умная, талантливая, только подчас пугает она меня своей какой-то тёмной глубиной. И кажусь я ей, вероятно, слишком земным, скроенным из геометрических линий и математических формул. А она какая-то вся трепетная, воздушная, порой неуловимая. Эх, брат, и вдруг эта чепуха, прости меня, эта страшная чепуха. Эта война. Чушь! Вот ты ушёл в армию. Как почти все наши. Когда фронт так близко, когда было много раненых – я работал санитаром. А теперь учусь, учусь, учусь! Должно же это когда-нибудь кончиться, и начнётся настоящая жизнь, когда можно будет начать работать, строить, созидать, устраивать свою жизнь – прочно и по-серьёзному, самостоятельно. Ты веришь в своё дело, Юра?

– Борис, я слишком много видел мерзкого и отвратительного. Я знаю, где Неправда, но не знаю, где Правда...»

Долго говорили они в ту ночь с Борисом. Юрий рассказывал о тех ужасах, которые увидел на войне: зверства и красных, и белых, сожжённые деревни, измученный народ, разложение в войсках, ровесники в простреленных шинелях – он ненавидел войну! Он хотел бы убежать от неё в глухой лес, в тишину и солнечную радость Природы. Он цитирует Гумилёва, истрёпанную книжку которого возил в походной суме. И снова – о горящих станицах, о растерзанных трупах вдоль дорог... Но я опускаю эту часть рассказа и перехожу к главному событию «Белой акации», о котором не терпится поведать и поэту. Он и сам многое пропускает, перескакивает с мысли на мысль, взволнованный воспоминаниями.

«...Молодые Бурьяновы пригласили меня покататься на лодке по Кубани. Борис с Ольгой, Надя с Гришей – великовозрастным гимназистом выпускного класса.

Гриша был красивый еврей, сын аптекаря. Самоуверенный, развитый юноша.

– Кончу учиться, – сказала Надя, – выйду за него замуж.

Я как-то спросил о нём Бориса.

– Да, кажется, жених! Надя у нас человек практичный, будет женой аптекаря.

Катя покапризничала, но решила поехать тоже. Взяли две лодки.

– Вы с кем? – спросила Катя.

– Поедем с нами! – пригласил Борис.

– А Катя?

– Пускай садится тоже.

Надя села за вёсла в своей лодке:

– Люблю грести!

Гриша – за руль. Я было хотел сесть тоже за вёсла, но Борис попросил:

– Дай сяду я.

Мы с Катей устроились на носу лодки. Ольга взяла рукоятку руля на корме. И вот лодка наша заскользила по воде. Катя опустила руку и повела её бороздой.

– Мешаешь движению, – буркнул Борис.

Катя шалила, но с каким-то странным для девочки надрывом.

Разговор у нас не клеился. Борис молчал. Молчала и Ольга. Я пытался развеселить Катю разговорами. И сам мучительно чувствовал, что болтовня была натянутой, серой, неостроумной и скучной. И Катя не шла мне на помощь.

Я ловил на себе взгляд Ольги, и мне казалось, что она чувствует мою неловкость, и от этого ещё больше смущался.

На нас наплывал остров, заросший деревьями и кустарником.

– На острове очень много змей, – сказала Катя, – и он называется Змеиным. Я на него сходить не буду.

– А я хочу сойти на берег, – сказала Ольга. – Юра, Вы пойдёте со мной?

– С удовольствием!

Лодка Нади и Гриши ушла вперёд. Они помахали нам и стали огибать остров. Борис подвёл лодку к удобному месту. Я выпрыгнул на берег и протянул руку Ольге.

– Я посижу, почитаю, – и Борис вынул книгу из кармана пиджака.

– Вот это здорово! А я? – воскликнула Катя.

– Ты же боишься змей. Ну, и посидишь пока.

Катя надула губы. Но Ольга, не отпуская моей руки, сказала:

– Пойдём, пойдём, – и, потянув меня, побежала по тропинке.

Тропинка была узкая, она вилась среди кустарника и вскоре вывела нас на открытое место. Мы пошли рядом.

– Осторожно, Юра, здесь и в самом деле много змей.

– Авань не укусят, вот только неловко перед Катей...

– Бросьте думать об этой взбалмошной девчонке, – весело сказала Ольга. – Я вижу, что Вы не любите светской болтовни...

Я было попытался сказать, что за эти годы отвык от общества, да и в силу своего характера мне очень трудно побороть смущение и неловкость.

– Я Вас очень давно знаю, Юра. Не удивляйтесь, Борис очень много о Вас рассказывал, о школьной дружбе, из всех его кадетских товарищей Вы единственный человек, с которым он очень глубоко связан. И, знаете, верно рассказывал. Я Вас сразу узнала. Вот почему в ту ночь, когда Вы пришли, я руку Вам дала, уже как старому другу. Вы очень близкий человек Борису, будете и мне...»

О, эта вечная неосторожность влюблённого! Рассказывая с восторгом о друге своей женщине, влюблённый собственными руками разрушает своё счастье. Женщина непременно влюбится в неведомого, и потому особенно притягательного, друга. Что и произошло с Ольгой Ивановской. А уж Юрий влюбился и подавно – с первой же секунды, в сумерках ночного сада, как только она протянула ему руку в полуоткрытую дверь своего дома, и он эту руку поцеловал.

В чистоте своей и любовной слепоте Борис даже предполагать не мог, какая опасная игра начнётся! И она – началась. И в том, что Ольга с Юрием попали именно на Змеиный остров, есть некая символика, древняя, как мир: Адам – Ева – Змей-искуситель.

Вечный любовный треугольник.

«– Борис мне рассказал, – продолжала Ольга, – и о Вашем недавнем ночном разговоре. А для меня Вы не герои, чистые мальчишки, которые бросили всё и идёте на смерть.

– Герои, – усмехнулся я, – ну, это сильно сказано. Я видел очень бесстрашных людей, и всё-таки думаю, даже в самые трудные моменты в человеке живёт надежда, вера, ощущение, что он будет жить. Идти на смерть с осознанием, что

будет другой исход, исключено – для этого, вероятно, нужна очень большая сила духа. Я этого не пережил и не знаю, что буду испытывать, если меня поставят к стенке. В самые опасные моменты меня никогда не покидала уверенность в торжестве жизни. Вероятно, я очень люблю жизнь. Поэтому я не чувствую “величия смерти”. Она мне кажется всегда безобразной, нелепой, невысказанной, унижительной для человека. И потом, Оля, я думаю, что я не тот герой, о подвигах которого Вы говорите.

– Змея! – крикнула Ольга и отпрянула назад.

В шаге от нас, свернувшись кольцом, с высоко поднятой головой, в угрожающей позе, лежала гадюка. Злобные глаза её были устремлены на нас. Она мгновенно развернула кольцо и уползла в сторону.

Ольга несколько мгновений стояла, прижавшись ко мне.

– Пойдёмте отсюда!

И мы повернули назад, к лодке...»

На этом рассказ обрывается. Неизвестно, как развивались отношения Ольги, Юрия и Бориса дальше, после Змеиного острова. Скорей всего, они не успели достичь какой-либо определённой точки, так как фронт приближался к югу. Юрий снова пошёл воевать.

Надвигался роковой 20-й год. Вместе с остатками разгромленной армии Врангеля Юрий и отец его, Борис Александрович, вскоре окажутся в Турции. Начнётся скорбный путь изгнанников, изгоев, врагов новой России.

Но чудесный май, забывший о войне, но цветущая белая акация, но прогулка по Кубани на лодках и трепетная, как лань, девушка – всё это, видимо, оставило в душе поэта столь глубокий след, что на склоне жизни, вспоминая с благодарностью женщин, которых он любил и которых называл «главной любовью», поэт признается: «С юностью связано ещё одно имя – Ольга Ивановская...» Он выделяет её из общего списка.

Имя это, выходит, волновало его всю жизнь. Воспоминание об Ольге Ивановской окутано дымкой поэзии. Имя её отзывается трепетной, далёкой музыкой. Память о несказанной, туманной, платонической любви не стёрлась многими, и трагическими, и счастливыми, годами, осела на губах майским мёдом, наполнила высоким звучанием всю жизнь – грешную и всегда мгновенную, сколько бы лет ни прожито.

И до последнего дня останется этот белокурый застенчивый мальчик из «Белой акации» в седом стареющем поэте, испытывавшем так много и о многом написавшем в стихах и прозе.

Теперь от этих трудных дней  
И от того, что после было,  
От мёртвых и живых друзей  
Освободиться мы не в силах.

И я коплю, как алчный рыцарь,  
Богатство этих страшных лет.  
А нашей юности стыдиться  
У нас с тобой причины нет.

*Ю. Софиев. Молодость. 1927 г.*

Из тех жестоких, но прекрасных своей молодостью лет, из «Белой акации» берёт начало ещё один, самый чистый, самый мелодический исток реки лирической поэзии.

## ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ

Всю ночь шёл снег. Под этот снег хорошо спалось. Юрию снилась Шеврез – вся в белых садах. Тонкий аромат цветущих яблонь кружил голову. Юрий просыпался, глядел в светлую темноту – там истаивало белое облачко, пронизанное воздухом весеннего цветения. Засыпал снова и видел снова долину Шеврез. В небе, засыпанном бело-розовыми лепестками, проступали очертания старинного замка, и звонили колокола. Благовест! Откуда в замке колокола? Странно...

По узкой тропе, ведущей к замку, по которой любил ходить Расин, быстрым шагом шла женщина. Она стремительно приближалась, концы её белого шарфа взлетали крыльями. Лена! Огромные голубые глаза её глядели на него – с улыбкой, но и с печалью: в них стояли слёзы. Лена! Нежный, девичий овал, чудесные губы, которые он так любил, так любит. Как она молода и красива! А он – старик. Вот сейчас, сейчас она совсем близко подойдёт и увидит, какой он ветхий, увидит, что ему семьдесят лет, что седина победила, наконец, его белокурые волосы, и морщины исказили лицо, как в кривом зеркале.

Он спрятался за дерево. Лена пролетела мимо, ветер взметнул вихрь свежих лепестков. Мгновение Юрий глядел ей вслед, а потом снова увидел её лицо, снова шла она к нему навстречу – лёгкая, пронизанная светом, сияющая! И колокола звонили оглушительно.

– Лена! Лена!

Он резко проснулся. Колокольный звон всё ещё стоял в ушах. Юрий послушал своё сердце – не болит. Его совсем нет. Утро. Тихое. Ни звука. Мёртвое. Снег уже не шёл. Он лежал за окном ровным, белым саваном. Ни следа, ни одной живой души. Пусто. Как пусто... Слёзы сами собой потекли по холодным щекам...

\* \* \*

В декабре 1969 года в Алма-Ату из французского городка Шелл пришло письмо от бывшей Ионовой, а к тому времени – Галл Елизаветы Владимировны. Ереньки.

Елизавета Владимировна сообщала Юрию Софиеву о скоропостижной смерти «нашей любимой Леночки». Елены Люц. Она внезапно упала и умерла от сердечного приступа, на глазах у беспомощного Виктора. В доме никого не было, кроме них двоих. Не было и соседей в ближайших к ним виллах. Виктор кричал, звал на помощь. Никто его не услышал. Тогда он сполз с кровати, чтобы хоть как-то помочь умирающей подруге. Но сил не было, тело не подчинялось ему – он ведь был парализован. 48 часов пролежал он подле мёртвой Елены, пока не пришли соседи, а за ними и полицейские. Виктора отвезли в госпиталь, Елену – в морг. Соседи связались с Елизаветой Галл, она приехала. «Козья хатка» Мамченко была опечатана. Елизавета Владимировна похоронила Елену Евгеньевну.

«Одна-одинёшенька шла я за гробом», – пишет она в печальном своём письме.

Когда я нашла в архиве это письмо, сердце моё оборвалось. Будто не прошло более полувека с того трагического дня, будто Елена Люц всё это время была жива, и вот теперь – страшное известие: она умерла! Я пережила потрясение и всё никак не могла успокоиться, не могла убедить себя, что если бы Елена выжила тогда, в 1969 году, если бы жила дальше, то всё равно теперь, в двухтысячных, ей было бы больше ста лет, и она вряд ли бы сохранилась. Её бы всё равно уже не было. Но сердце моё не хотело с этим соглашаться и горевало.

Дальнейшее поведение Елизаветы Галл полностью реабилитирует в моих глазах эту женщину, на которую я смотрела прежде с неодобрением, встав на сторону Елены Люц.

Галл устраивает Виктора Мамченко в стариковский дом в Шелле, где был медицинский и прочий присмотр за ним. Это был русский дом. Каждый день ездила она к нему в приют и тратила на это пять часов. С её помощью он снова стал ходить, опираясь на палочку. Она читала ему. Он смог даже понемногу писать и делал от себя короткие приписки в её письмах к Ю. Софиеву. Понимая, что не вечна и тоже нездорова (ей было уже за семьдесят), Елизавета Владимировна делает попытку связаться с сестрой Мамченко в СССР, Марией Андреевной, которая жила на Украине, в г. Николаеве. Но Мария Андреевна ответила, что у неё нет средств, и она не может приехать за ним. И – не приехала. Она и прежде его не звала к себе.

У В. Мамченко не было ни пенсии, ни медицинской страховки, так как он жил с советским паспортом. Содержался в приюте на благотворительные средства. Галл пишет, что в Шелле Виктора никто не навещает. Все забыли о нём. Несколько раз были Терапиано и Прегель, но и они потом перестали им интересоваться. Для их преклонных лет дальние передвижения были, конечно, затруднительны.

Письма от Е. В. Галл прекратились быстро. Последнее датируется 1971 годом. И Раиса Миллер на просьбы Юрия Борисовича что-либо узнать о Викторе не могла ему дать никаких сведений, но то, что Елизавета Владимировна была около Виктора до последней своей возможности, – нет сомнений. Она его любила.

Она была с ним не только в пору его творческого и мужского расцвета, но и тогда, как болезни приковали его к постели, и как он в госпиталь попал, и на ходился несколько суток между жизнью и смертью – она была рядом с ним, хотя только что похоронила свою мать, и сама нуждалась в поддержке. И после смерти Елены Люц она взяла на себя устройство дальнейшей судьбы В. Мамченко. Да, она его любила. И это говорит не только в её пользу, но и в пользу Виктора, как человека. Значит, была в нём такая притягательная, духовная сила, которая вызвала ответную любовь.

Он сказал когда-то в письме к Н. Н. Кноррингу: «Не трудно быть святым ангелом в раю, труднее – человеком на земле...»

Мы знаем, что Виктор Андреевич прожил 81 год. Он умер в декабре 1982 года, пережив и Елену Люц, и Юрия Софиева, и многих других. Похоронен в Шелле. Судя по всему, доживал он в приюте, который и находился в городке Шелл под Парижем.

В книге А. А. Романова «На чужих погостах: Некрополь русского зарубежья» (Москва: Эллис Лак 2000, 2003 г.) сообщается, что могила Мамченко на городском Новом кладбище под номером 332, сектор В., заброшена: «Могилы как таковой



нет, есть заросшее дёрном место, совершенно плоское, на котором лежит деревянный сгнивший крест без надписи. Место можно обнаружить только с помощью зрителя кладбища...»

\* \* \*

В дневнике Ю. Софиева есть откровение о том, что они часто спорили с Виктором Мамченко о бессмертии души. Мамченко верил в жизнь после смерти, а Юрий – нет, и потому писал так: «...У Виктора эту черту можно назвать “воинственным оптимизмом идеалиста”, но это глубочайшее его убеждение...»

И ещё Виктор утверждал, что «не может быть, чтоб в сердце навсегда жила, была горячая беда». Ю. Софиев так это комментирует: «Вот одна из очень характерных черт его природы, его верований... Мне грустно, что трудно верить в безусловное исчезновение беды из человеческой жизни – потому что, хотя бы одна из самых горьких и пронзительных бед – утрата – основная закономерность бытия. Виктор знает об этой беде, но как-то, не знаю как, – верит или хочет верить в возможность “преодоления” смерти. По существу, это его “мироощущение” и питает его идеализм. Потому так трудны и жестоки были наши медонские споры о материализме. У Виктора от него органическое отталкивание, внутреннее “недоброжелательство”, а может быть, и нечто большее...»

«Нечто большее» – это его вера в Бога и в бессмертие души. Теперь это очевидно. Да и Ю. Софиев, в конце концов, присоединился к другу: «И мёртвых нет – одни живые...»

\* \* \*

В письмах своих Елизавета Владимировна говорит о Елене Люц с нежностью и тихой печалью. Ни единого дурного или раздражённого слова, как бывает между соперницами. Она уважает её, что была почти полвека преданной подругой Мамченко. И горюет, что Елена не успела оставить завещания, и все её труды, все мечты обеспечить Виктора после своей смерти оказались тщетными. Не будучи её законным мужем, Виктор не смог воспользоваться хорошей её пенсией и средствами от участка её покойной матери. Всё отошло государству. И Галл пишет, что Мамченко остался без гроша. Хоронила она Елену Люц на свои деньги. И потом заботилась, сколько могла, о Викторе Мамченко.

В своих письмах Виктору Юрий называет его и Елизавету Галл «родными и самыми близкими теперь на свете».

\* \* \*

После смерти Елены Юрий Борисович больше ничего не писал: ни стихов, ни дневника. Я тщетно искала в его архиве и то, и другое. Кроме нескольких записей и писем на грубой обёрточной бумаге, напечатанных на плохой машинке, больше ничего. Они, эти письма, видимо, и заменили ему дневник. Были они, скорее всего, черновиками тех, что он перепечатал потом на хорошей бумаге, либо они так и остались неотправленными. Их три: Полине Львовне Вайншенкер, Раисе Николаевне Миллер и брату, Льву Оскаровичу Бек-Софиеву.

«Милая и дорогая Полина Львовна!

Вы уж думали, что я отошёл в другой мир и потому не пишу Вам? Нет! Я кое-как ещё жив, но чувствую себя отвратительно.

Я переменил адрес. Меня устроили в дом престарелых, и я почти всё время лежу в постели, так как ходить почти не могу – болят ноги, и всё время я падаю.

У меня так плохо с головой, что я совсем стал безмолвным. Совсем не могу окончить воспоминания о Голенищеве-Кутузове, который умер в Москве, об Алексее Дуракове, который был убит в Югославии. Сопротивленец, он награждён орденом советским правительством. Мои лучшие друзья молодости и всей моей жизни. Напечатать мог бы в “Голосе Родины”, там напечатано несколько моих статей. Издательство советского комитета по налаживанию связей (культурных) с зарубежными соотечественниками находится в Москве, Харитоньевский переулок, 10. Они нашли меня через Вл. Сосинского, тоже мой приятель по Парижу и Москве.

Ещё раз большущее Вам спасибо за Бунина. Простите меня, нужно кончать, приносят ужин. Всего Вам хорошего. Может, напишите, как Вы живёте? К сожалению, я теперь, знаю это, людям в тягость. Простите меня, дорогая Полина Львовна...»

В дом престарелых Юрий Борисович ушёл добровольно, не послушав уговоров сына и невестки, и мой муж до конца жизни горевал об этом. Он говорил, что очень виноват перед отцом: не сумел дать ему такой любви и заботы, которая бы оставила его в семье...

В доме престарелых было медицинское обслуживание и регулярное питание. На Западе к таким домам относятся спокойно. В разное время там жили Георгий Иванов с Ириной Одоевцовой, Терапиано с большой женой, Виктор Мамченко и многие другие. С 1949 по 1955 год Николай Николаевич Кнорринг с женой Марией Владимировной тоже жили в приюте – в Русском доме в Нуази-ле-Гран. Приют этот, общежитие и лечебница были устроены в 1935 году Матерью Марией (в миру Елизаветой Скобцовой, которой когда-то А. Блок посвятил стихотворение: «Она пришла с мороза, раскрасневшаяся...») Ей тогда было 15 лет, и была она легкомысленной: в то время как Блок читал ей вслух «Макбета», волнуясь, как всегда, она глядела в окно и волновалась за целующихся голубей, за которыми охотился кот. С тех пор прошло немало трагических лет. В эмиграции приняла она монашеский постриг, стала Матерью Марией, во время войны попала в немецкий концлагерь и погибла в газовой камере). Одновременно с Кноррингами в стариковском доме жила дочь Бальмонта Мирра, а до этого – её родители.

И. М. Невзорова сообщает в своей статье «Материал к творческим биографиям П. Н. Милюкова, К. Д. Бальмонта, Н. Н. Кнорринга»:

«Жизнь пансионеров в Русском доме – пример мужества и христианского милосердия по отношению друг к другу. В этом убеждаешься, читая коллективные письма, адресованные Н. Н. Кноррингу в далёкую Алма-Ату, “выбранную” им по возвращении на родину. Там есть подписи и Мирры Константиновны Бальмонт (Аутин), и Софьи Борисовны Пиленко, и многих других русских изгнанников.

Ныне в городке Нуази-ле-Гран один из скверов носит имя Константина Бальмонта. В сквере установлен памятный знак: взметнувшаяся ввысь и при падении вонзившаяся в землю звезда, призывающая каждого быть как Солнце!»

Подумывала о приюте и подруга Юрия Софиева – Раиса Миллер, чтобы не мешать дочери и внукам. И Елена Люц время от времени устраивала большую

мать в приют, где за нею был надлежащий уход. Недолгое время жила в приюте мать Софиевых, Лидия Николаевна, пока сын её, Лев, не купил квартиру и не забрал туда мать.

У нас же – и тогда, в 70-е годы, и сейчас – неоднозначное отношение к богадельне. При живых детях или других родственниках сдавать стариков в такой приют считается позором. И чувство вины семьи Софиевых по этому поводу понятно. А Юрий Борисович принял такое решение потому, наверное, что был деликатным и независимым по характеру человеком. Он не хотел обременять собою никого...

В приюте Юрий Борисович жил в комнате с угрюмым, необщительным стариком. Собеседниками Софиева стали неисправная пишущая машинка и листы коричневой обёрточной бумаги (она оставалась от бандеролей), на которой он записывал обрывочные, плохо различимые теперь, строки:

«Родная моя Рая!

Спасибо тебе за письмо. Ну, как ты живёшь, родная? Я ношу себя отвратительно! Пиши, пожалуйста, жду с нетерпением твоих писем.

Ирина Владимировна (Братус. – *Н. Ч.*) очень мила. Послала мне в посылке сладости и даже на институт небольшие деньги на разные покупки. Написала, что это присылают мои старорусские друзья, но мне ужасно неудобно, подозреваю, что “старорусские друзья” – это она сама...»

Раиса Миллер упрекала его, что он пишет на плохой, “картавой”, машинке, и велела ему купить новую. Он отвечает ей:

«Купить машинку не могу, потому что она стоит 100 рублей, а мне в моём доме (престарелых. – *Н. Ч.*) дают в месяц 10 из моей пенсии (66 рублей 60 коп.). Это все мои деньги. Да ведь я на всём готовом!

Кормят вполне прилично! Конечно, это не дома. В комнате нас двое, правда, старик довольно противный, совершенно глухой! Так что я, вероятно, совершенно разучусь говорить, т. к. всё время молчу.

Ну, вот, родная, пора кончать. Сердечный привет всем твоим. Как же ты будешь жить дальше?...»

Брата в письме Юрий Борисович благодарит за то, что Лев хочет послать ему кашне и галстук (вещи, конечно, сейчас самые необходимые Юрию Борисовичу, в его-то малоподвижном положении!), а также за сведения о деде Николае Семёновиче Родионове и прадеде – Семёне Львовиче. Братья продолжают интересоваться своей родословной. В одной из европейских стран найдены некие Софиевы – богатые люди, но они отказались от любых контактов с Юрием и Львом.

Возможно, именно об этих Софиевых – они называют себя Сафиевыми, как иногда именовались и предки Юрия и Льва, – я недавно узнала из СМИ: они лезгины, как и наши братья, один из них, Георгий Сафиев действительно был очень богат: виллы в Америке, в том числе, в Лос-Анжелесе, квартиры в Европе и России, бизнес – только в офшорах вроде бы два миллиарда долларов. Сафиев был не чужд искусству (как многие в роду Сафиевых: они были поэты, художники, архитекторы и т.д.), спонсировал российское кино, дружил с известными деятелями культуры, но всё же богатства его были нажиты несправедливым, преступным путём, и они не принесли ему счастья: миллиардер убит в США, предположительно, русской мафией, а часть богатств быстро растратила его вдова, которая сошла с ума.

Юрий признаётся, что вспоминает часто отца, Бориса Александровича – какой это был прекрасный, благородный человек. Человек чести. Вспомнил, что познакомился он с Лидией Николаевной Родионовой, будущей своей женой, на станции в Рамбердове, где стояла 11-я конная батарея и где находилась тогда, вероятно, семья Н. С. Родионова, отца Лидии Николаевны.

О себе Юрий Борисович пишет с грустью:

«...У меня здоровье совсем неважно, всё время падаю навзничь, ушибаю голову. Живу по-прежнему в доме престарелых, вернее, всё время лежу, потому что ходить почти не могу. Приходят ко мне мои институтские и мои прежние соседи. К сожалению, нахожусь как в больнице. Вот уже неделя, как у меня прекратился пульс в висках, по-видимому, где проходит сонная артерия, голова у меня совершенно дурацкая.

Милый Лёва, если бы ты мне прислал твои греческие фотографии, конечно, часть! У меня теперь довольно длинная козлиная бородка. Как-нибудь снимусь, пошлю вам, а потом сбрую. Какой ты молодец! Ты ведь только на 3-4 года меня моложе! А я совсем сдал. На днях мне исполнится 76 лет. Какая мерзость старость! Болезни, слабость...»

Письмо писалось в феврале 1975 года. Юрию Борисовичу оставалось два месяца жизни.

«...Милый Лёва, хочу с тобой посоветоваться. Видно, болтаться мне на свете осталось увы! недолго. Нельзя ли меня, так же, как Макса, символически поместить со всем нашим семейством? Вместе с Ириной? Подумай об этом. Умру в Алма-Ате. Лежать буду в своей, родной земле. К сожалению, это не Русса, и не Горький, и не Ленинград. Для меня это СССР. Я никогда не был националистом, и это дело всегда здорово ненавидел...»

Лев Бек-Софиев купил участок на кладбище Сент-Женевьев де Буа, в 25 километрах от Парижа, где устроил некрополь своей семьи. Мать. Отец. Рядом поставил надгробия себе и жене Марии – из чёрного мрамора, где указал год рождения и – прочерк, куда должны будут внести год их смерти. Там же он поместил символический памятник брату Максимилиану, погибшему в одном из лагерей Колымы.

Лев писал Юрию в 1965 году, что 25 октября будет переносить прах Ирины Кнорринг с кладбища Иври на Сент-Женевьев де Буа. Деревянный крест сгнил, и Лев намерен поставить ей надгробие из белого мрамора. Мол, у меня будет из чёрного мрамора, а у неё – из белого, из самого чистого. Сообщает координаты будущего захоронения: «Могила Perpeteelle номер 5325 Sainte-Genevieve des Bois (5 – et-0)» и приглашает Юрия и Николая Николаевича Кнорринга приехать в этот день, 25 октября, для участия в перезахоронении Ирины. Этого они сделать не смогли.

В письме от 19 июня 1974 года Лев Оскарович пишет: «В это воскресенье видел Бориса Ширияева. Все мы были на кладбище, а он заведует нашими участками. Положил розы Ирине, Маме, Папе, Максусу. Это наш День Скорби. В этот день собираются все однокашники. Их всё меньше и меньше. Когда-то было 500 человек, а теперь только 200. Постепенно уходим в иной мир...»

Я так надеялась, что выполнил Лев Оскарович просьбу брата, и камень с именем Юрия Софиева есть не только на алма-атинском кладбище на Рыскулова,

где он лежит рядом с сыном Игорем, но и под Парижем. Но недавно моя знакомая побывала на кладбище Сент-Женевьев де Буа и рассказала, что памятника Юрию Борисовичу там нет. Более того, на черном мраморе постаментов Льва Бек-Софиева и его жены Марии-Луизы так и остались прочерки после года рождения. Года смерти не указано. То ли, если они всё же похоронены здесь, люди не удосужились выбить дату их смерти, то ли они похоронены не здесь, и чёрный мрамор, заранее поставленный Львом Оскаровичем для себя и своей жены, выситя над пустыми могилами. Скорей всего, он и Мария-Луиза закончили свои дни, как и многие одинокие русские эмигранты, в каком-нибудь приюте, и там же, вблизи приюта, и похоронены.

В тот же день, когда написал он Льву о своём последнем желании – лечь хотя бы камнем рядом с родными, Юрий Борисович делает запись для себя:

«Человек умирает, но всё идёт своим чередом: молодые шумно говорят о своём – смеются. Пришла няня со шваброй мыть пол... Ирина... Лена... Ира...

...Наше позднее счастье память хранила  
На суровой скале под высокой луной.  
Счастье. Может быть, море его поглотило,  
Беспощадной и гулкой ночью волной.

И ещё мне запомнился столб семафора  
На пустынном, уже заржавевшем пути.  
Неужели же неотвратимо и скоро  
Вспыхнет мёртвый, запретный огонь впереди?

Сохнет липовый цвет. Осыпаются листья.  
Даже звёзды не вечны в бездонной глубине.  
Но короткий твой путь всё ж оправдан, осмыслен,  
Если что-то сказал, был ты добр и любил...

...Из ранних детских образов, на самом дне сердца – потрясение на всю жизнь. Какая-то африканская пещера, большой лев и голый человек, вынимающий из большой львиной лапы занозу.

И ещё образ “рая” – среди людей добродушные звери – львы и прочие хищники. Любовь и какая-то радостная близость...»

«...Мучительные перебои сердца... А вчера, когда услышал об инфаркте, под простыней показал фигу с маслом – на-кось, выкуси! Как хочется бороться! И видеть голубое небо и солнечную зелень! Но – предошущение конца... Вероятно, оно в том участвовавшем ощущении тоскливости, щемящей незащитности. Чувство страха, возможно, возникает при последней встрече с собой, уже наедине с самим собой... Всё думаю, что же хотел сказать отец, когда, уже без голоса, попросил карандаш, взял двумя руками, – и его глаза, как-то безнадежно осознававшие невозможность уже что-то выразить. И как я мог, как я мог оставить его на ночь в чужой французской больнице (да и всё равно в какой!) и потихоньку взять его чемоданчик из-под кровати – кто-то указал на него, иначе бы он остался в больнице...

И улыбка Иры, тоже последняя... Когда я пришёл к ней в последний раз... Что она означала? Как тихо провела она рукой по моей щеке. Узнала? Всё это уже с самим собой, наедине... Непрерывная тайна...

Не верится, чтобы человек исчез бесследно...»

«...Прав Ходасевич: историю русской литературы можно назвать историей уничтожения русских писателей. Буду уничтожен и я. Я давно уже уничтожен. Меня никто не знает, никто не читает. И теперь уже, наверное, не прочтёт... Да и какая разница? Истина где-то не здесь, не в этих земных заботах, не здесь...»

\* \* \*

Из письма Раисы Миллер Юрию Софиеву (апрель 1975 года): «Эту ночь ты мне снился, и я к кому-то тебя ревновала, и так плакала, так плакала, что проснулась в слезах...»

\* \* \*

Умер Юрий Борисович 22 мая 1975 года в доме престарелых на улице Каблукова, 119а, в комнате 94. Неизвестны последние минуты его жизни. Вот и всё.

## ЭПИЛОГ

...Однажды мне было видение. Будто пришла я в какой-то дом. Может, это был приют, в котором умер Юрий Борисович, поскольку я видела стеклянную дверь в столовую и за нею много стариков. Среди них – Юрия Софиева. Он сидел спиной ко мне, но когда я подошла к двери, куда меня не пускали, отпихивали: «Нельзя! Нельзя вам сюда!» – то Юрий Борисович обернулся. И тут я увидела над головой у него, да и у других стариков, сияющие нимбы. Я во сне как-то сразу успокоилась, как-то подумала, что вот теперь всё будет хорошо, я заберу его домой, и всё будет хорошо.

И, может, всякий раз, когда мы вспоминаем о нём, когда пишем о нём, когда читаем его стихи, его письма, его дневники, он возвращается домой – в сердца наши?..

2009–2019 гг.

